N1/G 95
K72

КОСТЕР

ВТОРОЙ СБОРНИК

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

369743

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1934

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Редколлегия: Т. Габбе, Л. Желдин, З. Задунайская, художник В. Лебедев, А. Любарская, М. Майслер, С. Маршак, Л. Чуковская.

Редактор - художник Ю. Петров.

Обложка, супер-обложка и рисунок на переплете А. Пахомова.

Технический редактор Литографии А. Банделов.

Технический редактор А. Николаев.

СПб ГУК
"Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина"
Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, дом 33

Редакции газет и журналов получили множество писем — из Москвы, Ленинграда, Харькова, Бузулука, из деревни Зыково, из города Камня, со станции Петухово, из колхоза «Возрождение» («бывшая деревня Омужня»), из Брединских копей, из деревни Кинь-Грусть...

В этих письмах читатели — школьники 1-й и 2-й ступени,— отвечая на обращение М. Горького, пишут о том, какие книги им хотелось бы прочитать. Они называют сотни разнообразных тем, подсказывают писателям и редакциям сюжеты, пытаются по-своему объяснить, что нужно сделать для того, чтобы книжка была интересной и содержательной.

«Много я читал книг, но больше всего мне нравятся книги о гражданской войне, о революции, о военной технике, о колхозном движении, о том, как возникла жизнь на земле, о диких людях, об эксплоатации негров» (сельсовет Чекан, Анакиевского района).

«Я люблю читать про то, что было давно-давно, когда меня еще не было» (Тирасполь).

«Читаем с удовольствием все книги, которые попа-

дутся нам в руки, но очень и очень нас интересуют те книги, которые описывают про жизнь моряков на море и случаи при их путешествии и также жизнь при войне. Мы вас очень и очень просим, чтобы вы нам выслали хотя бы троечку таких книг» (село Горчеково).

«Я особенно ценю книгу, где интересно описано строительство и преобразование нашей страны, побеждение природы человеком» (село Брахлово, Западной области).

«Мне бы хотелось почитать книгу о всех животных и чтобы книга была с картинками всех животных и птиц» (Псков).

Темы, которые названы в письмах, трудно даже перечислить. Еще труднее сочинить и напечатать все те книги, которых требуют ребята. Им нужны рассказы о моряках, о будущей войне, о Магнитострое, о полете в стратосферу, о детстве революционеров, фантастические романы о межпланетных путешествиях, повести о том, как жили у нас дети рабочих до революции, и о том, как будут жить люди при социализме, наконец, «пьески на пять человек, чтобы можно было играть в сарае»...

Задача «Костров» — ответить на письма ребят. Но разве ответишь сразу на столько тем, требований и предложений? Книги делаются долго и бывают хороши только тогда, когда автор берется за тему, которую он знает и любит.

Создать большую литературу, отвечающую на требования

и вопросы ребят, должны все писатели и ученые Советского Союза. Но уже и сейчас многие писатели работают над книгами, которых ждут школьники из Бузулука, пионеры из Брединских копей, деткоры со станции Петухово.

Пионер из Воронежа пишет М. Горькому (через газету «Пионерская правда»):

> «Я бы попросил напечатать побольше книг про перестройку жизни *в степях и пустынях*, а то таких книг очень мало, а меня это очень интересует».

Письмо пришло недавно. А уже около года писатель М. Ильин, автор «Рассказа о великом плане», пишет книгу о перестройке природы.

Одна из глав этой книги называется: «Перестройка пустыни».

Мы печатаем ее в нашем сборнике.

Мы думаем, что она ответит не только на воронежское письмо, но и на все те письма, в которых читатели просят рассказать «о побеждении природы» строителями социализма.

Писательница Р. Васильева не читала письма со станции Западная Двина. Не видела писем из Бородинского пионерского лагеря.

Но книга, которую она пишет, будет ответом на вопрос и западнодвинских и бородинских пионеров: как жили до революции рабочие и их дети?

Повесть Р. Васильевой рассказывает о жизни питерских заставских ребят и кончается революцией — теми днями, когда

фабричные ребята разоружали вместе с рабочими юнкерские училища и ходили к самому Володарскому учиться агитации.

В сборнике мы печатаем две главы из этой книги.

Вместо «троечки книг о моряках» мы даем пока рассказы Константина Золотовского о работе на дне моря.

О полете в стратосферу, о Магнитострое, о будущей войне нам еще пока нечего дать читателю. Книги для детей об этом еще не написаны.

Но вот о том, как управляет поездами на линии диспетчер, которого никто не видит; как проталкивает этот таинственный диспетчер своим карандашом грузы на тот же самый Магнитострой, — обо всем этом говорится в рассказе «Полтора разговора».

О двух школьниках, которых поссорила и помирила лошадь, и о том, что делалось в это время в их деревне, — пишет Иван Шорин, молодой писатель, сам окончивший деревенскую школу.

Читатели, которые просят рассказов о ребятах в гражданской войне, о жизни на крайнем Севере, о приключениях в лесу на охоте, — прочтут здесь и охотничий рассказ, и эпизод из гражданской войны, и стихи про лес.

Во многих письмах ребята просят дать им побольше книг о самых различных профессиях. Мы считаем, что это очень серьезное требование, и начинаем в этом сборнике серию рассказов о мастерах различных специальностей. Одни из этих рассказов написаны самими мастерами. Автор «Водолазов» — водолаз-глубоководник; автор рассказов «Огонь и вода» — бывший пожарный-топорник, а теперь помощник начальника Гаванской пожарной части в Ленинграде; автор рас-

сказа о «солнечном веществе» физик, научный сотрудник Физико-технического института.

Другие рассказы о профессиях написаны литераторами. Рассказ о железнодорожниках дал Ник. Григорьев; «О горной специальности» — поэт Н. Тихонов, и, наконец, об одной очень редкой и странной профессии рассказал М. Зощенко.

Конечно, очень многое из того, что интересно ребятам, остается пока без ответа. Нашим «Костром» мы только начинаем выпуск сборников, в которых писатели и ученые, охотники и моряки, рабочие и участники экспедиций расскажут советским детям о том, что они знают, испытали и видели.

В сборнике участвуют и художники.

Каждый из них взял на себя работу, которая ему интересна и знакома.

Художник и охотник В. Курдов много бывал в лесах и на побережьях советского Севера. Художник А. Пахомов, который дал рисунки к рассказу Ивана Шорина, вырос в деревне, как и Шорин, и связан с ней до сих пор.

Евгений Чарушин — не только художник, но и наблюдательный зоолог.

Все оттиски рисунков в сборнике — автолитографии. Это значит, что сами художники сделали свои рисунки на камнях, с которых печатались иллюстрации.

С. МАРШАК

ПРАЗДНИК ЛЕСА

АВТОЛИТОГРАФИЯ В. КУРДОВА

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Мачты и реи —
Держать паруса,
Рубку и палубу,
Ребра и киль —
Странствовать
По морю
В бурю и штиль.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Радиомачты —
Ловить голоса,
Стол, за которым
Ты будешь писать,
Ручку,
Линейку,
Пенал
И тетрадь.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Легкие крылья —
Лететь в небеса,
Дом и качели,
Челнок и скамью
И деревянную
Лошадь
Твою.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Чащу,
Где бродят
Барсук и лиса,
Чащу,
Где белка
Скрывает бельчат,
Чащу,
Где утром
Вороны кричат.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Лист,
На который
Ложится роса,

Воздух для легких
И влагу,
И тень, —
Вот что сажаем
В сегодняшний день!

Р. ВАСИЛЬЕВА

ЗАСТАВСКИЕ РЕБЯТА

АВТОЛИТОГРАФИИ С. МОЧАЛОВА

1

ПОЛИТИКИ

Танька целый день перед нами хвасталась, пальто свое зимнее показывала. Пальто у Таньки плюшевое, черное, блестящее. Подкладка мягкая, шелковая, в мелких цветочках. На шерстяной вате пальто.

— А вы погладьте, погладьте, — ну точно котеночек, — говорила Танька.

Все мы поочереди гладили пальто — и верно: точно котеночек.

Ну, как же Таньке не форсить?

Сапоги у нее новые, со скрипом. Платье крахмаленное, топорщится. Три банта на голове и все разного цвета — розовый, фисташковый, яичный. А пальто у нее каждую зиму обязательно новое.

Все девчонки на нашем дворе переделки носят — от матери к старшей дочке, от старшей к средней, от средней к младшей, — пока на-нет не сносят.

Мне вот и за пять рублей какое-нибудь завалящее пальтишко не могут купить. Целую зиму ходи в бабкином лапсердаке, — рукава как фонари торчат, все мальчишки на улице дергают. Хорошо — у меня хоть сапоги есть А вот у Зинки ни пальто, ни сапог, одни валенки залатошные и на зиму и на лето. Про Анькино пальто и говорить нечего — не пальто, а прямо стра-

сти господни. У Маруськи сапоги такие, что как дрыгнет она ногой — из сапога и песочек сыплется, и камешки, и стружки, а в другой раз и корка арбузная.

А у Сеньки, — я сама вчера слышала, как его лупили и приговаривали:

— Не проси, не форси! Вот тебе новые, вот тебе сапоги!

Хоть бы самим где на одёжину заработать. Да что придумаешь? Вот ребятам с Гериковского заводского двора — хорошо. Те шибко зарабатывают. Раздобыли три склеенных балалайки, ходят теперь по трактирам да тренькают. Мальчишкам это в самый раз. А вот девчонкам что делать? Девчонка с балалайкой двух шагов не пройдет, — засмеют девчонку с балалайкой.

А если без ничего пойти — просто петь? Не в одиночку под окошком копейку выпрашивать, а целым хором петь, как в церкви поют.

У Аньки голос такой, что она всю школу перепевает, — ее даже на спевке наш регент камертоном по голове стукает, чтобы легче пела. Про Зинку школьный батюшка сам говорит, что не голосок у нее, а чистый божий ручеек. Ну, у Маруськи голос хоть сильный, да все песни у нее на один лад — что «Господи помилуй», что «Во саду ли, в огороде». Да на худой конец Маруська у нас за регента сойти может.

Только вот жалость-то какая: баса нет. А какой же это хор без баса? Сеньку взять, что ли? Сенька как никак мальчишка. Должен же быть у него хоть мало-мальский какой бас.

Собрала я девочек под деревом на свалке и все им объяснила.

— Подходяще придумано, — сказала Анька. — Песни петь? Это я могу.

И как затянет на всю свалку:

Ле-те-ли две птич-ки,
Ростом невелич-ки.

Тут и осень и зима
Да заморозили меня.
Как они сади-лись...

Мы даже уши заткнули.

— Погоди, Анька, горло-то драть. Мелочи нет, а крупные у матери за пазухой. Вот как хором пойдем, тогда и споешь своих птичек-невеличек.

— А мне страшно по дворам ходить, — шопотом сказала Зинка. — Ребят дворники завсегда вытуряют.

— А тебе кто говорит, что по дворам? Мы не по дворам, — мы по гуляньям и по трактирам пойдем.

— Сегодня же и пойдем, — сказала Маруська. — Как Райка говорит, так и сделаем. Анька запевает, Зинка подпевает, Райка вторит, я руками размахиваю, Сенька октаву берет.

Пошли за Сенькой.

Сеньку нашли у плотницкой. Он с ребятами в чижа дулся. Мы поманили его в сторону.

— Сенька, у тебя бас?

— Где бас?

— Да в глотке, где же.

— Конечно, бас. Не пискант, как у вас.

Сенька пощупал, помял двумя пальцами свой кадык, откашлялся басом и спросил:

— А вам на что бас нужен?

— Пойдешь с нами хором петь, Сенюшка? Деньги зарабатывать?

— Вот чудачки-то! Ясно-понятно — пойду. А когда?

— Сейчас и пойдем. На Рижский, на постройку. Там в трактире народу! — плотников, ломовиков, стекольщиков... Как раз в шабаш угодим.

По дороге в трактир чуть-было не развалился наш хор. Заспорили, кому запевалой быть: Аньке или Сеньке.

— Что ж, зря я с вами иду, что ли? — кричит Сенька. —

Я один, а вас много. Коли мне не запевать, так мне в хоре и делать нечего. Катитесь одни, сами басом пойте.

— Ну, чорт с тобой, запевай, — сказала Анька. — А запевать-то что будешь?

— Давайте «Мак» споем, — сказал Сенька. — А потом можно еще чего-нибудь. Ну, «Пахнет сеном над лугами», что ли. Да там вспомним.

Мы подошли к трухлявым ступенькам трактира «Ключи счастья» и открыли дверь, обитую потертой клеенкой.

Шумно в трактире и чадно. От столов горячий пар валит... Кто вдвоем, втроем из одной плошки щи хлебает, кто водку пьет, и все разом разговаривают.

А тут еще граммофон гопака отчеканивает, и канарейки со щеглами перекликаются.

Сразу направо от двери большая длинная стойка — буфет с «разной закуской». За буфетом стоит старик. На нем розовая рубаха и зеленый бархатный жилет. Рукава рубахи выше локтей засучены, — будто старик сейчас в драку полезет.

Мы подошли к стойке.

— Кто тут хозяин? — спросила Анька.

— Чего продаете? — спросил старик.

— Мы ничего не продаем, мы хор, петь к вам пришли.

— Петь пришли? — захохотал старик. — А что петь-то будете?

— Песни.

— Песни? Песни? — Старик захохотал еще громче. — Какие же такие песни?

— Ну, мало ли какие — разные.

— Разные? Ой, уморили!

— Старик-то, кажется, сумасшедший, — шепнула мне Зинка. — Уйти бы!

А старик стоял, держался руками за стойку и смеялся на весь трактир.

— Смехач! Чего тебе весело-то? — закричал мастеровой из-за ближнего столика.

Старик вытер слезы рукавом розовой рубахи и перестал смеяться.

— Уговор такой, — сказал он вдруг строго: — полпесни — ваши, полпесни — наши.

— Как так? — спросила Анька.

— А так: рубль — ваш, полтинник — наш. Полтинник — ваш, четвертак — наш. Четвертак ваш — весь наш, и по шеям вам. Идет?

— Ладно, — сказала я.

— Ну так начинайте, — сказал старик и остановил граммофон.

Мы выстроились в ряд. Первым справа Сенька, потом Анька. За Анькой я, за мной Зинка. А Маруська стала боком к публике.

— Бас, давай! — сказала она и взмахнула руками.

Сенька откашлялся.

На горе мак, мак...

запел Сенька, притоптывая. Но ни голоса его, ни топота не было слышно в шуме трактира.

— Ой, девочки, — зашептала Анька, — убил нас Сенька. Ничегошеньки не слышно.

— Подхватывай! — зашипела Маруська, махая на нас руками. — Что есть мочи подхватывай!

Маки, маки, маковушки, —

затараторили мы все вразброд, —

Золотые головушки.
Встанемте в ряд,
Спросимте про мак.
Как сеют мак?
Вот и эдак, вот и так.

СПб ГУК
"Центральная городская детская библиотека им.А.С.Пушкина"
Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, дом 33
Сектор редкой книги

369743

Мы захлопали в ладоши.

Так сеют мак,
Так сеют мак.

— Готов мак? — крикнул Сенька.

— Готов! — загудел пьяный народ в трактире. Все застучали ногами по полу, забарабанили кулаками по столу. Посуда запрыгала, задребезжала на стойке, на столиках, на полках.

— Готов! — орал рыжий извозчик из-за крайнего стола. — Готов у бабушки на печке! Готов коту под хвост!

— Вы бы козлика спели! — закричал пьяный почтальон.

— Гони их, смехач!

Стоим мы у стойки, ничего понять не можем.

— А ну, выкидайсь, — сказал старик и засучил рукава еще выше. — Видите, моя публика волнуется. Геть, пока загривок не вспух! Ну!

Мы рванулись к двери.

— Держи их! Держи! — кричал старик и хохотал во все горло.

Мы разом толкнули дверь и на пороге чуть не сшибли с ног долговязого дядьку. Вместе с ним и вылетели из трактира.

— Никак божьи да Панкратыча детки, — сказал долговязый ласково. — С чего вы как из пушки летите?

Посмотрели мы — да это Силыч, рыбак с Лоцманского острова. Наш друг-приятель Силыч. На голове у Силыча лоток с миногами покачивается.

— А ну, вертайся, человечки, угощу. А? Вот товар трактирщику сдам и угощу. А?

— Нет уж, — сказала Анька. — Не пойдем. Выперли нас оттуда.

— Ну? — удивился Силыч. — За что же это, человечки, а?

— За песни.

— Бывает, — сказал Силыч. — А вы не горюйте. Обождите маленько. Я вам чего-нибудь скусненького принесу.

Силыч поправил лоток на голове, выпрямился и вошел в трактир. А мы перебежали через улицу и уселись на тумбы.

— Спели, — сказала Анька. — Вот так спели!

— Особенно бас хорошо пел — шипел, — сказала Маруська.

— Ой, Сенька, ну и бас у тебя! — засмеялась Анька. — Зинку и ту слышнее было.

— Бас как бас, — огрызнулся Сенька. — Вы сами-то хороши. Выли на весь трактир, будто вас за хвост дергали. За то и выгнали всех.

Замолчали мы. Сидим — ждем Силыча. На трактирную дверь смотрим.

А дверь то и дело открывается и закрывается, открывается и закрывается.

Вылезли из трактира мастеровые. Один за стенку держится, другого товарищи с двух сторон подпирают, а третий как спустился с крыльца, так и стал на четвереньки и пополз точно годовалое дитя. Ползет и на всю улицу выводит:

Маки, маки, маковушки,
Золотые головушки...

— Песня-то наша, — сказала Зинка.

А Силыча все нет. Солнце с нашей панели уже через дорогу перемахнуло и пошло гулять по другой стороне. Окна в трактире стали красные.

А мы всё сидим и сидим.

Вот уже солнце на крышу трактира взобралось. Село на нее, посидело немного и свалилось куда-то за трактир, наверное, — на Курляндскую улицу. Потом с Курляндской солнце уйдет на Обводный, пройдет огородами прямо к Путилову, к Верфи, а утром вернется обратно. С нашего двора взойдет. У нас всегда по утрам солнце.

— Силыч-то не иначе как заснул в трактире, — сказала Маруська. — Ноги все отсидела. Так иголками и колет.

Тут медленно приоткрылась клеенчатая дверь, и на крылечке трактира появился Силыч с лотком под мышкой. Чего это с ним? Спускается со ступенек, высоко задирая ноги, точно через бревна перелезает. А дорогу стал переходить, так будто не по булыжинам идет, а по узенькой жердочке через речку. Качается из стороны в сторону, вот-вот свалится.

— М-м-маковочки вы мои! Цветики вы мои! З-золотые головочки мои! Постойте, я вас выучу песне. Такая уж песня, такая песня... Только бы до Лоцманки мне добраться. Только бы добраться.

Подбежали мы к Силычу, а он оперся на Сенькины и Маруськины плечи и повис на них. Идет, сам себе на ноги наступает, правой на левую, левой — на правую. А я, Анька и Зинка идем сзади и толкаем Силыча в спину, чтобы назад не валился. Насилу дотащили его до острова. А на острове дует свежий ветер со взморья. Там круглый год ветра ходят.

Силыч от легкого воздуха даже как будто чуть-чуть протрезвел, меньше спотыкается. Подвели мы его к рыбачьему домику и усадили под самое крылечко на траву. Он весь как-то обмяк, вытянул длинные ноги и лоток к себе на колени положил. Облокотился на лоток. Точно за столом сидит.

Мы вокруг расселись.

— Ну, учи песне, — сказала Анька.

— Песне? — спросил Силыч. — Дай-ка мне вспомнить эту самую песню. Давно ее не певал. Как с Газовской больницы вышел.

— Ну, вспоминай!

— Погодите. Хмель уйдет — песня придет.

Сидим — ждем, пока из головы Силыча хмель уйдет. А на дворе темнеть стало. Белая вощеная сеть, растянутая пе-

ред крыльцом на колышках, посерела вся и как будто меньше сделалась.

— Ну, слушайте, — сказал Силыч.

Он плюнул себе на руки, потер ладонь о ладонь и запел стариковским голоском — два слова пропоет, четыре нараспев скажет:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил.

Замолчал. Сидит — вспоминает. Долго вспоминает, — как будто нас около него и нет.

Потом вдруг поднял голову, поставил лоток ребром, оперся на него как на костыль и запел по-настоящему — густым, ровным голосом:

Служил ты не долго, но честно
Для блага родимой земли,
И мы, твои братья по делу,
Тебя на кладбище снесли.

В горле у Силыча что-то хлюпнуло, сморщился старик и заплакал. И у нас слезы текут. Зинка — так двумя руками лицо закрыла и навзрыд ревет.

— Вот песня-то какая! — сказал сквозь слезы Силыч. — За сердце берет, душу рòстит. Только конец забыл. Да стойте, я принесу, у меня она вся где-то записана.

Силыч вскочил и, ни чуточки не шатаясь, пошел в дом.

— Вот это песня! — сказал Сенька. — Спели бы такую, так ни за что бы нас из трактира не выгнали. Сердечная песня.

— Завтра и споем, — сказала я.

Силыч вернулся в очках и с черной записной книжкой. От книжки так и несло жареными миногами. Вся она была исписана счетами.

— Вот, други-маки, какая песня-то, — сказал Силыч,

раскрыв книжку на последней странице. — Это меня в больнице в тюремной парень один выучил — политик. Легочный он был, а веселый, суматошный, будто ему век жить. Вся наша палата плакала, когда его с койки в покойницкую уносили. Мы его этой песней и отпели. А когда я в тюрьме сидел, так и другие еще песни выучил, тоже хорошие. Политики пели.

— А чего это — политика? — спросила Анька.

— Не политика, а политики, — сказал Силыч. — Это люди такие и очень хорошие люди, да. Хотят они жизнь другую сделать.

Силыч пригнулся к нам и сказал шопотом:

— Ну, примерно, без царя, примерно, чтобы все богатые были, примерно, сытые, веселые...

— А в тюрьму-то их за что? — спросила я.

— Так надо же кого-нибудь сажать, вот и сажают хороших-то. Хорошие как бельмо на глазу у плохих. Видят — хороший человек, а сами-то дрянь, — ну и сажают.

— Я не хочу быть хорошей, — сказала Зинка. — Вот говорят: будь хорошей, будь хорошей, а потом — нате-ка, в тюрьму сажают.

— А ну, маки-маковушки, давай по домам, — сказал Силыч, — мне еще ужин Панкратычу готовить надо. С моря-то он и мокрый и холодный и голодный вернется.

— А песня как?

Силыч выдрал из записной книжки последнюю страничку.

Мы взяли ее, попрощались и пошли.

— Завтра выучим всю, — сказала я, — а вечером в трактир пойдем петь.

С самого раннего утра забрались мы на свалку песню учить. На разные голоса ее разбили, и поодиночке каждый пел, и хором спевали. Хорошо выходило.

— Ну, Сенешный, с этой песней тебе запевалой не бывать, — сказала Анька.

— Давай, ребята, по очереди запевалами будем, — сказала Маруська. — В одном трактире Анька, в другом Сенька, в третьем Зинка. Ладно, а?

— Ну, коли по очереди, так ладно.

Трактир мы выбрали поближе к дому — «Чайную розу».

«Чайная роза» всегда полным-полна фабричными с Треугольника, с Путилова, с Кенига, с Дурдина. Трактир не какой-нибудь, а второго разряда.

На столиках там клеенки, половые там с полотенчиками через плечо бегают. На стене генерал в эполетах и с расчесанной надвое бородой. А под потолком три лампы керосиновые горят, и все с абажурами — до чего светло! Точно в церкви накануне престольного. И пахнет-то как! — жареным луком, тушеной капустой, горохом горячим.

Только шум-галдеж в «Чайной розе» такой же, как и в «Ключах счастья».

Мы вошли в трактир и прямо — к буфету.

— Вам чего? — спросил трактирщик.

Этот был коренастый, угреватый и одет был под фабричного, только пофорсистее: пиджак в полоску, малиновая косоворотка, пояс с кистями, брюки навыпуск.

— Петь у вас можно? — спросила Анька.

— Чего ж нельзя? Только рубль — ваш, полтинник — мой...

— Полтинник — наш, четвертак — ваш, — перебил его Сенька.

— Четвертак — нам, по шейм — вам, — сказала Анька.

— Не мне, а вам, огарки заставские, — сказал трактирщик.

— Ну, нам, — согласилась Анька.

Мы стали к стойке.

Анька вышла вперед, оглядела трактир и, покрывая весь шум, высоко запела:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил.

В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил, —

подхватили мы.

Вдруг за дальним столиком зазвякали ложкой по тарелкам и по стаканам. Мы переглянулись и замолчали. А Зинка вся съежилась и попятилась к двери.

— Да это не вам, ребята, не вам! — закричали из-за столика. — Валяйте, пойте. Сделайте милость. А вот вы, там, дурдинские бутылки, катушки кениговские! Потише! Слушать не даете.

Шум в трактире стал глуше. Люди перестали есть и повернулись к нам. Анька шагнула поближе к передним столикам и запела:

Служил ты не долго, но честно
Для блага родимой земли,
И мы, твои братья по делу,
Тебя на кладбище снесли.

Наш враг над тобой не глумился,
Кругом тебя были свои.
Мы сами, родимый, закрыли
Орлиные очи твои.

Тут кто-то дернул меня за руку. Я обернулась. За мной стоял трактирщик. Он наклонился и прошипел мне в самое ухо:

— Честью прошу, уходите.

— Пропоем и уйдем, — шопотом сказала я.

— Как знаете, — прошептал трактирщик, — вам же хуже будет.

— Пойте! — закричали из разных углов. — Чего замолчали? Не мешай им, копеечная душа!

Трактирщик махнул рукой и скрылся за дверью позади стойки.

А в трактире стало тихо. Ни одна тарелка не звякнет, ни одна бутылка не качнется. Сидят мастеровые — кто на спинку стула откинулся, кто грудью на стол лег, — слушают.

А мы поем. Поем уже без запевалы, всю песню поем хором:

Не горе нам душу давило,
Не слезы блестели в очах,
Когда мы прощались с тобою,
Землей засыпали твой прах.

Нет, злоба нас только душила,
Мы к битве с восторгом рвались
И мстить за тебя беспощадно
Над прахом твоим поклялись.

В левом углу нам даже подпевают. Тихонечко так подпевают.

С тобою одна нам дорога,
Как ты, мы по тюрьмам сгнием,
Как ты, для рабочего дела
Мы головы наши снесем.

Как ты, мы, быть может, послужим
Лишь почвой для новых людей,
Лишь грозным пророчеством новым
Грядущих и доблестных дней.

И вдруг из-за столика встал один, немолодой уже, рабочий человек, расстегнул ворот рубахи и запел. Да таким сильным голосом, что на полке стекло отозвалось.

И мы со всей души подхватили:

Но знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней.

Кончили мы песню и поклонились. А трактир вздохнул, как один человек, вздохнул и зашумел.

— Ай-да фабрично-заводские!

Какой-то парень подбежал к нам, вскочил на табурет да как крикнет на весь трактир:

— Господа товарищи, кладу целковый ребятам на яблоки.

— Ложи, ложи! — закричали другие. — Подбавим, не жалко, — честно заработали.

Парень сорвал с Сенькиной головы фуражку и бросил в нее блестящий серебряный рубль.

Сразу вокруг нас столпились мастеровые. Звенит серебро в Сенькиной шапке.

А мы стоим красные, рады, что песня наша так по душе всем пришлась.

— А теперь, ребята, кройте домой. Как бы чего не вышло,— сказал наш новый запевала.

Он сунул Сеньке шапку, чуть не доверху полную денег, и подтолкнул к дверям.

Мы все двинулись за Сенькой.

— Эй, песни! — позвали нас от крайнего окна. — Идите-ка к нам поужинать.

— Ох и хорошо! — шепнула Зинка. — Вот как хорошо! В трактире-то я никогда еще не ела.

Нас усадили за отдельный столик. Половой поставил перед нами большую чашку горячего разварного гороха с жирным мясом, положил деревянные ложки и дал по ломтю хлеба.

От одного пара горохового у нас потекли слюнки.

— Райка, — сказал Сенька. — Таскай мясо первая и

сколько хочешь. Ты нас сюда привела, тебе и начинать. А знаете, ребята, мы никак не меньше двадцати рублей нынче заработали. Вот так Силычева песня!

— Жаль, никого с нашего двора здесь нет, — сказала Зинка, обжигая рот горохом. — Вот бы позавидовали! В трактире — и вдруг ужинаем.

Тут дверь медленно приоткрылась, и в трактир просунулась большая голова в черной фуражке с широким околышем. На околыше бляха — ни дать, ни взять — лошадиная подкова. Потом плечи с красными погонами влезли, а потом и весь городовой ввалился. С правого бока револьвер, а с левого — селедка.

Фролыч! Наш знакомый, с Калинкина моста городовой. А за Фролычем — трактирщик.

— Вот они, — сказал трактирщик.

— Вижу, что они, — спокойно ответил городовой. — Кому и быть, как не им. С Обводного канала публика. Знаю их, хорошо знаю. А ну, вставай!

— Зачем? — сказала Зинка. — Мы ужинаем...

— В участке доужинаешь.

— За что же в участок-то? — закричали мы.

— А за пенье. Где это вас таким песням учили? В хоре церковном или в училище? А? За такие песни у нас в тюрьму, в Кресты сажают.

— Господи, — заплакала Зинка. — Не хочу в тюрьму.

— Оставь ты их, — тихо попросил один мастеровой. — Чего привязываешься к ребятам?

— Связался чорт с младенцем! — крикнули из-за другого стола.

Фролыч посмотрел кругом, поправил селедку и сказал:

— По совести говоря, так вас надо бы туда же. Чтобы уши не развешивали. Да местов на всех в участке еще не наготовлено.

Он сгреб нас разом в охапку, распахнул сапогом дверь и вытолкнул на улицу.

— Пусти, дяденька, — заплакал Сенька. — Мы ведь только деньги зарабатывали. Ничего худого не делали. Видишь? — И Сенька показал Фролычу шапку.

— Много? — спросил городовой.

— Много, — сказал Сенька.

— А ну, покажи-ка.

Сенька протянул шапку с деньгами. Фролыч зачерпнул целую горсть серебра и подбросил несколько раз на ладошке. Зазвенели монетки, заблестели.

— Ух, сколько! — вздохнула Анька.

— Много, да толку с них мало. Фальшивки все, — сказал Фролыч и ссыпал деньги к себе в карман шинели.

Оттопырился карман у Фролыча, отвис.

— Врешь! Не фальшивки! Давай назад деньги! — закричал Сенька и вцепился Фролычу в карман.

— Марш по домам! — рыкнул Фролыч. — С таких лет да фальшивыми делами заниматься! А ну шагай за мной.

Фролыч сунул в рот свою «соловейку» да как свистнет!

Мы бросились бежать.

Только у ворот нашего двора перевели дух.

— Черти, — сказал Сенька. — Надавали нам фальшивок. Чуть в тюрьму из-за них не угодили.

— Не, деньги были настоящие, — сказала Зинка. — У меня одна денежка еще осталась. Смотри-ка.

В руках у Зинки лежал новенький полтинник. Покусали мы его поочереди — крепехонек. На панель бросили — звенит. В лавку к Иванихе зашли, шоколаду спросили. Взяла у нас Иваниха монету, ничего не сказала.

Самый настоящий полтинник, не поддельный.

II

ХАЛАТ-ХАЛАТ

Самые у нас важные события на дворе — это свадьба, крестьбины, похороны и новые жильцы. Но больше всего переполоху от новых жильцов.

Не успеет еще воз в ворота въехать, а уж известно, что за люди жильцы: с достатком, или фабричные; муж бьет жену, или она его; выпивает жилец, или вмертвую хлещет.

Каждую вещь новых жильцов, каждый веер и ухват, абажур и кочергу все соседи осмотрят, ощупают, на глаз примерят — где и почем куплено. А такая хозяйка, как наша Милочка, так та и в комнату к новым жильцам в первый же день залезет. Все штаны-юбки перещупает, все штопки на чулках пересчитает.

А чуть новые жильцы со двора уйдут, так Милочка со всякими советами к хозяевам припрется.

— Ну, как? — спросит она хозяйку. — Живут?

— Живут, — скажет хозяйка, — живут. Что им делается?

— Ой, милочка! — зашепчет Маракулиха (потому ее и прозвали Милочкой, что она всех милочками называет). — Ой, смотри, милочка! Жиличка-то твоя глазами так и бегает, так и бегает. Ой, запирай комод! Ой, прячь ключи! Ой, смотри!

Чего бы ни попросил жилец, всё ему дают только с оговоркой: надо свое иметь, на хозяйское нечего рассчитывать. У нас, мол, тоже не крадено, а куплено. А если жилец что-нибудь без спросу возьмет, или, упаси боже, нечаянно разобьет, — ну, тогда держись, жилец. Хорошо, если его только отлают как следует — так, что у Петергофского слышно будет. А то еще, чего доброго, разговор в драку перейдет.

После такой драки, если только не съедет жилец, сразу он хозяевам чуть ли не свояком становится.

Новоселье тогда справит, любезных хозяев к столу пригласит. Угостятся они вместе, выпьют и поладят.

Станет новый жилец старым жильцом.

Со всего двора только одна моя бабка никогда с жильцами не воевала. Ни с кем о них не судачила и другим судачить о них не позволяла. Придет Милочка к бабке и выкатится обратно, не солоно хлебавши.

— Ты, Маракулиха, уходи, — скажет бабка. — Чеши язык о любой угол. А мои углы не для тебя. Богом прошу, уходи.

Уйдет Маракулиха злющая и при всех бабах мою бабку обзовет и ведьмой, и змеей, и ярыгой.

Все дни, пока после булочника дяди Ивана комната у нас гуляла, Милочка нас прямо измором брала.

С утра до вечера бегала: то за скалкой, то за шваброй, то за перцем, то за солью.

Хоть бабка и быстро ей все подавала, а Маракулиха все-таки успевала ее спросить:

— Жильцы-то всё еще не приехали?

— Едут, — скажет бабка. — А коли и приедут, то тебе у них в гостях не бывать.

Сунет бабка что надо Милочке в руки и захлопнет за ней дверь, а сама завздыхает:

— Что-то и вправду долго жильца нет. Чем за квартиру-то платить будем? Ох ты, горе какое!

На воротах у нас с неделю уже билет о сдаче комнаты висит. Это я его под бабкины слова писала.

«Сдается сухая, светлая комната со всеми услугами, с дровами и с кипятком и днем и ночью. В тихом семействе для одиноких. Плата дешевая. Хозяева православные. Староверов просят не соваться».

Бабка моя больше всего на свете боится со староверами связываться.

— Умучаешься с ними, — говорит она. — Такая у них вера серьезная: ни твоей ложки-плошки не возьмут, ни своей тебе не дадут. Моя для них погана, а коли ихнюю попользуешь — тоже опоганишь.

Висит билет у нас на воротах, дождь его мочит, солнце сушит, а к нам ни православные, ни староверы носа не кажут.

По утрам бабка с дедом другу другу сны рассказывают.

— Яблоки я, отец, сегодня видела, — говорит бабка. — Иду это я, а Иван-булочник будто целую корзину яблок антоновских несет и не угощает меня, даже не смотрит.

— Яблоки к слезам, — говорит дед.

— Прости и помилуй, господи! — Бабка крестится и опять вздыхает.

Одной мне на руку, что жильцов нет.

Тайком от бабки я комнату их по-своему разукрасила, фантики с красивенькими картинками разгладила и в угол комнаты наклеила. На подоконник книжки свои положила — «Лизочкино счастье», «Заветное окно», «Дети капитана Гранта». Из газет фестоны разные вырезала, на дверь навесила. Два стула из комнаты деда стащила, к окну поставила. Хорошо в комнате стало, нарядно, светло, чисто. И до чего просторно! Хоть большую кадриль веди — есть где развернуться. А уж читать тебе никто не помешает. Хотя бы одну ночку в такой комнате переночевать. Да куда там — и не заикайся. Разве бабка позволит?

Подольше бы жильцы не приезжали. Я даже по ночам просыпаться начала. Лежу и думаю: вдруг скоро конец моей комнате, вдруг жильцы завтра приедут? И придется мне переезжать опять с книжками и фантиками к бабке на кухню. А в кухне тесно, и таракашки в темноте шуршат, и всегда чем-нибудь тяжелым пахнет — и щами, и помоями, и ваксой.

Я даже молиться стала, чтобы жильцов подольше не было. «Господи, — молилась я, — помоги, чтобы не было жильцов. Сделай так, господи. Если не можешь на все время, то хоть бы на лето, господи. Все мне посвободнее будет, господи. А то въедут такие, как Иван, умучают они меня беганьем к матке за кипятком. И носки жильцов тоже стирать не легко, господи».

Но всегда бог наоборот делал. Прошу у него, чтобы меня дед не бил, — обязательно отлупит. Прошу, чтоб бабка разорванное платье не увидала, — так нет, увидит. Прошу, чтобы мать с получки книгу Шахерезаду купила, — шиш купит. Разобью чего-нибудь, прошу сотворить чудо — склеить, — не склеит. Все по-своему делает. Никогда меня не слушает.

Как-то раз пошла бабка в лавку и вдруг летит, как угорелая, обратно с пустым мешком. Открыла дверь на кухню да как заорет:

— Жильцы!

У меня сердце так и дрыгнуло.

— Идут? — спросил дед.

— Отказала я им, отец.

— Как смела? — заорал дед.

Бабка бросила пустой мешок на плиту, растрепанные волосы под косынку убрала, руки крест-накрест сложила и уставилась на деда.

Ну, думаю, держись дед!

— Так, — зашипела бабка. — Так, голубчик. Что же мне на старости-то по участкам ходить? Да? С городовиками по ночам возиться? Сон свой рабочий терять? Старый ты чорт, век прожил, а ни дьявола не понимаешь! Жилец-то, думаешь, кто был? Жилец-то студент. На-ко вот!

— С этого бы и начала, пчела осиная. А то вперед воду вылила, а потом дело выплеснула.

— Как умею, как умею. Не тебе меня учить.

— Хорошо ты, бабушка, сделала, — подмаслила я бабку, — хорошо, что студентам отказала. Какие они жильцы!

— Ну, внученька, ну подумай. Иду я в лавку. Гляжу — у ворот длинноволосый с блестящими пуговками. Сам высокий, черный, а сапоги рваные. Стоит — ноги расставил и читает на всю улицу нашу записку. Читает и ржет. А чего в ней смешного?

«— Господин хороший, чего тебе весело? — спрашиваю.

«— Комнату, — говорит, — нашел.

«А я ему:

«— Как, — говорю, — нашел, так, — говорю, — и потерял. Студенту не сдам.

«— Так я православный.

«— Хошь трижды им будь, — говорю, — а не сдам.

«А сама вместо лавки да скорее домой. Студенты, думаю, народ нахальный, а дед наш где остер, а где и бобер, — как бы не сдал без меня комнату. Ну, на этот раз господь уберег».

Отлучились дед с бабкой в этот день куда-то из дому, а я скорее в свою комнату. Солнца в ней хоть отбавляй. Села я на подоконник. Взяла книгу «Приключения Тома». Вот, думаю, вволю почитаю. Дед с бабкой нешибко ходят — домой не скоро воротятся. А книга у меня новая, — я ее только что у Таньки на́ самые красивые стеклышки выменяла, да не насовсем выменяла, а на раз почитать.

Только дошла до места, где Том в пещеру попал, — колокольчик в прихожей.

— Чтоб вас, — заругалась я. И пошла открывать дверь.

У дверей стоит дядька. На дядьке соломенная панама с черной ленточкой. В длинном-предлинном сюртуке дядька. Ни усов у дядьки, ни бороды. Настоящий тряпичник, «Халат-Халат».

— Носит вас тут, — разозлилась я. — Людям мешаете. Нечего у нас продавать.

— Ну, коли нечего, так веди, комнату показывай.

— Комнату? Ишь какой жилец нашелся ловкий! Мы тряпичникам не сдаем.

Я захлопнула дверь и крючок накинула. Пошаркал чего-то Халат ногами за дверью и ушел себе.

Скоро вернулись дед с бабкой. Еле дышат, устали оба.

— А у нас, бабушка, жильцы были, — сказала я. — А я их выгнала.

— Святители мои! — задохнулась бабка. — Как смела?

— Да это же тряпичник, бабушка, был. С мешком. Халат-Халат. В мешке у него банки, склянки — так и звенели. Честное слово!

— Ну и денек сегодня, — вздохнула бабка. — Гостей со всех волостей, а угоститься не с кем.

Вечером, во время ужина, опять раздался громкий звонок в прихожей. Дед соскочил с табуретки, чуть сковородку с кашей не опрокинул, и побежал открывать дверь.

— У вас сдается комната? — спросили в прихожей.

— Сдается, сдается, — быстро сказал дед, — пожалуйте, пожалуйте, проходите.

И дед повел жильца в комнату.

Я и бабка бросили ужинать и скорее туда же.

За столом сидел новый жилец. Как посмотрела я на него, так и фыркнула. Тот же Халат-Халат, только переодетый. Была шляпа — теперь картуз с широким околышем. Был длинный сюртук — теперь пиджак. А пиджак-то ему узок. Все время Халат жмется, — видать, под мышками режет. Я подошла к нему поближе, чтобы получше лицо разглядеть. Ну, конечно, он. И усов нет, и бороды нет. И пятно родимое посередине подбородка. Ну и хитрый же, Халат! Не мытьем, так катаньем, а лезет в мою комнату.

— Комната у нас хорошая, светлая, сухая, семья у нас спокойная, тихая, верующая, — говорил дед.

— Я тоже тихий человек, — отвечал ему Халат. — И брат у меня тоже тихий человек. Мы, хозяева, вас не обидим.

Я не удержалась и как прысну прямо Халату в лицо.

Дед вскочил со стула и ко мне. Схватил за ухо. И давай его крутить. Ухо крутит, а всей голове больно. Заорала я на всю квартиру. Дед отпустил мое ухо и пихнул меня в спину. Вылетела я пробкой из комнаты.

Сижу одна на кухне и думаю. Ну, думаю, так и так мне с комнатой расставаться. Только и вам, дед с бабкой, солоно придется. Нарочно вам не скажу, что жильцы-то ваши халаты, тряпичники.

Сама себе кровать постлала. Со злостью легла, со злостью и заснула. Утром, как проснулась, сразу новых жильцов вспомнила.

— Ну что, сдала? — спросила я бабку.

— Сдала, — сказала она, — сдала. Сегодня же и приедут с братцем. Очень хороший человек, за месяц вперед заплатил. Так в глаза и смотрит. Чист человек всегда в очи глядит, нечист — в землю.

— Чист, чист! — передразнила я бабку. — Почти трубочист. А ремесло то у них какое — знаешь?

— Дед! — крикнула бабка. — Жильцы-то наши кто?

— А кто? — спросил дед.

— Так я говорю — кто?

— Мать честная! — всполошился дед. — Ей-богу, не знаю, забыл, кто они, спросить.

— А я знаю, — сказала я. — Жильцы-то ваши тряпичники. Вот они кто!

— Врешь! — закричала бабка.

— Честное слово. Ну хочешь — побожусь. Он самый и утром к нам приходил. Халат — как есть халат.

— Слушай ты ее, — сказал дед, — она тебе соврет и глазом не сморгнет.

— Не вру, дедушка, не вру. Он только сюртук снял и мешок где-то оставил. А сам он настоящий халат.

— А все-таки врешь, — сказала бабка, — деликатный он такой, обходительный. Халаты не такие. Врешь.

После обеда во дворе у нас загромыхала телега и остановилась под самыми нашими окнами.

— Приехали, — сказала бабка и опрометью бросилась на двор.

Я к окну. Подошла да так и ахнула.

У телеги два студента хлопочут, оба в тужурках с блестящими пуговицами, оба в синих штанах с кантами, а один из них мой Халат. Суетятся студенты, пересмеиваются с извозчиком, а бабка моя стоит посреди двора, точно на нее столбняк напал. Стоит и не шелохнется. Только руками передник перебирает. Выгрузили студенты свой скарб — две корзины дырявые да сундук ломаный, да два стула перекореженных.

Мой Халат-Халат взвалил сундук себе на плечи и понес. Я ему дверь открыла.

— С приездом вас, тряпки-банки-склянки-гвозди ржавые,— сказала я Халату.

— Спасибо, хозяюшка. Ухо-то у тебя после вчерашнего на месте? — засмеялся Халат и потащил сундук к себе в комнату.

«Ладно же, подожди, схожу я тебе за кипятком, когда понадобится, — напросишься», сказала я Халату про себя. Громко сказать я побоялась.

Вслед за Халатом в квартиру злее ведьмы влетела бабка.

— Деликатные-то твои приехали, — подразнила я ее.

Но бабка на меня и не посмотрела.

— Опутали меня! За что наказуешь? А? — завыла она и плюхнулась на табуретку. Потом посмотрела в угол, где ви-

сел Николай-чудотворец, и еще громче закричала: — Спрашиваю, за что наказуешь?

Николай-угодник будто смотрел и на бабку, и на меня, и на всех. Смотрел и, как всегда, молчал. Бабка махнула на него рукой и побежала за стенку к жильцам.

— Актер, обманщик! — закричала она на Халата. — Куда пиджак дел? Ты ж вчера в тройке приходил.

— В прокате, бабушка, тройку оставил. Сорок копеек за два часа заплатил.

— Жулики, — заплакала бабка. — Опутали меня! Оба опутали!

— И меня, — сказала я, заглядывая к жильцам в дверь. — Меня, бабушка, они тоже опутали.

— Ну уж ты, пигалица, помалкивай, — сказал Халат. — Твое дело шестнадцатое, вызовут — будешь говорить. А тебя, хозяюшка, просим не сердиться. Мы хоть и студенты, а иной раз дров тебе наколем. Когда стирать будешь — белье на чердак снесем. На кухне тебе полы вымоем. А в праздник с тобой гулять под ручку пойдем.

— Да ну вас к бесу, — сказала бабка, успокаиваясь. — Что сделано, так уж сделано. На чем только вы, брехуны, спать будете? Кровати-то у вас где?

— А мы на сундуках спим, — сказал Халатов брат. — И чисто, и хорошо, и в комнате просторно, и уборки никакой не надо.

Бабка моя плюнула и ушла на кухню.

А на кухне уже сидела Маракулиха.

— Петровна, голубушка, милочка, студенты!.. Ах, не повезло тебе! — зашептала Маракулиха. — Гони их, гони!

— Как дерева нет без сучка, — сказала бабка, — так и человека без греха. И пусть человек либо сам свои сучья рубит, либо с ними ходит, но вешаться на них пусть человек не позволяет. Особливо таким, как ты. Уходи!

Платок у бабушки съехал с головы, кичка ее — прическа— повисла на двух шпильках. Но бабка этого не замечала, она вся тряслась от злости и грудью шла на Милочку. Милочка, спотыкаясь о половики, пятилась задом к двери и все шептала:

— Что ты, милочка, я ничего, милочка, я по-хорошему, милочка...

А сама скорей за дверь.

Вечером Маракулиха ловила меня и на лестнице, и в коридоре, все о жильцах расспрашивала, даже пряником угощала.

Я взяла пряник, съела его и поблагодарила.

— Ну как ваши жильцы? — спросила она меня.

— А ваши как? — спросила я.

— Слава богу, слава богу! — сказала Милочка.

— И наши слава богу! — крикнула я и бросилась бежать.

— Вся в бабку, змея ядовитая! — завизжала мне вслед Милочка. — Вся в бабку, змея подколодная.

Жильцы наши скоро точно свои стали. За кипятком сами бегали, комнату себе сами убирали. К дедовой пиле новые ручки приделали. Помои бабке выносили, а вечерами с бабкой и дедом в карты играли — в акульки, в короли, в пьяницы.

— Вы бы мне рубахи ваши постирать дали, — сказала им как-то раз бабка, тасуя колоду карт.

— А что же мы пока голые ходить будем? — засмеялись студенты.

— Эвона, у них даже и переодевашки нет. Чем же вы, голь перекатная, будете мне за комнату платить?

— Не беспокойся, хозяюшка, — отвечал ей Халат. — Заплатим. Скоро деньги получим. Колбасы накупим, чаю, варенья, баранок — и тебя за стол хозяйничать посадим.

— А пока, может, ты нас, хозяюшка, щами угостишь? — спросил Халатов брат.

— Щей не жаль, — сказала бабка, — только они малость ходить начали — прокисли.

— А вот и давай их скорее, пока совсем не ушли. Мы любим кисленькое...

Достала бабка целый котел со щами и на стол поставила.

— Ешьте, беспортошные. Только ежели живот вспучит, я не виновата.

— Животы у нас что твои кастрюли луженые — не вспучит их, — засмеялся Халат. — Спасибо!

— Чтоб вас скосило! — засмеялась бабка.

После этого она весь вечер вздыхала, все студентов жалела. И умные они, и простые, и веселые, хоть и жулики. А бедность-то какая!

И недели не прошло, как жильцы к нам въехали, а уж дворник с жалобой пришел:

— Ты, — говорит, — Петровна за жильцами смотри. Шляющий народ. Как стемнеет, так они и начинают взад и вперед по двору носиться. И мало что носятся, а и в окна лазят, точно у вас двери для них закрыты.

— Да ты что? — заорала бабка. — Мерещится тебе это с пьяных глаз, что ли? Я, почитай, им каждый вечер дверь открываю, и сама за ними крюк накидываю.

— Нет, уж, Петровна, ты проверь, — упрямился дворник.

И бабка решила проверить.

На следующий день она свое окно с вечера оставила открытым, чтоб удобно было в любую минуту высунуться и посмотреть.

В десять часов вечера пришли Халат с братом. Бабка закрыла за ними дверь на ключ и на крюк. Полчаса не прошло, как у студентов в комнате хлопнула рама. Бабка — к окну, я — за бабкой. Глядим — лезет какой-то длинный к

жильцам в окно. Влез, а за ним второй карабкается. Потом третий. И таким манером пять человек в Халатову комнату переправилось. Захлопнулось окно у жильцов.

— Зайди-ка к ним, посмотри, — сказала мне бабка.

— Ишь ты, хитрая какая! А вдруг это воры? Я боюсь.

— Иди, говорю, а то на сундук ляжешь.

Ничего не поделаешь — пришлось итти.

Я тихонечко постучала в дверь к студентам.

Дверь приоткрылась, и просунулась голова Халата.

— Халат! К тебе воры влезли.

— Спасибо, они уж спят, — сказал Халат и захлопнул дверь.

— Ну что? — спросила меня бабка.

— Спят воры.

— Я им дам спать! — закричала бабка.

Она напялила второпях задом наперед юбку, кофту на левую сторону и двинулась к жильцам. А я за ней.

Заколотила бабка кулаком в дверь.

— Ну чего опять? — услышали мы голос Халата.

— Открывай! — приказала бабка.

В комнате жильцов завозились, зашаркали, зашуршали. Хлопнула оконная рама.

— Не моги бежать! — закричала бабка. — А то всех выгоню.

Халат открыл дверь.

— Зажигай огонь! — сказала бабка.

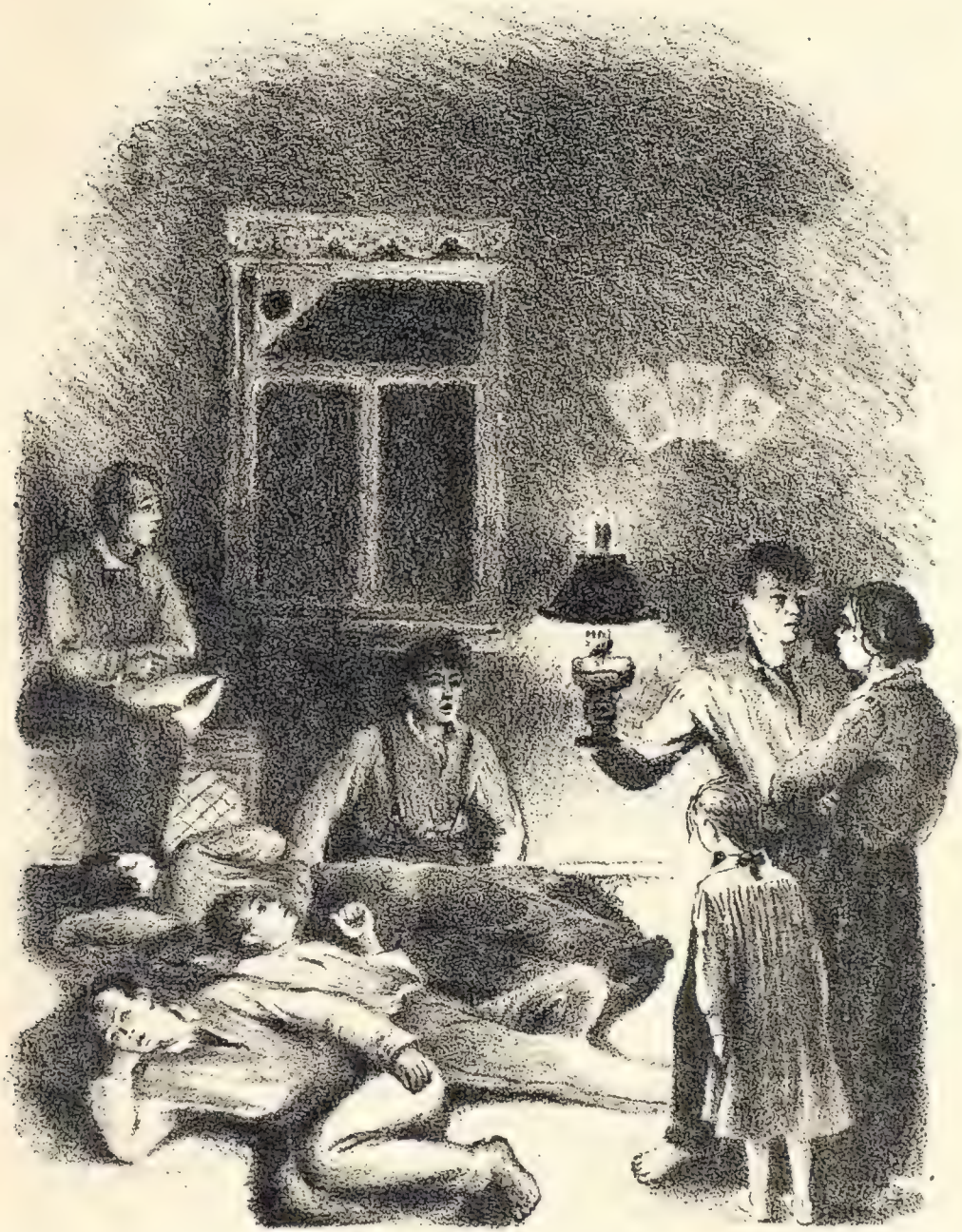
Халат зажег лампу.

В комнате на полу лежало вповалку пять человек.

— Так, — протянула бабка. — Хороши лазутчики оконные.

Оконные лазутчики зафыркали.

— Кто такие? — наступала на Халата бабка. — Зачем бродяг в дом пускаешь? Ночлежный дом у меня, что ли?



— Это не бродяги, бабушка, это родственнички.

— Что за родственнички такие?

— Вон тот у окна, — Халат показал на студента, лежавшего под окнами, — это моей мачехи троюродной тетки двоюродного дяди крестник.

— Так, — сказала бабка, — десятая вода на киселе. А этот? — спросила бабка и показала на рябого студента, который лежал за сундуком.

— Это Ряба.

— Вижу, что ряба. А кто он такой?

Халат стоял и молчал. Ряба заговорил сам.

— Я... — сказал он.

— Ты, ну?

— Я, хозяюшка, его, Халата вашего, двоюродной сестры мужа брат. Вот кто я.

— Так, — сказала бабка, — деверем, значит, приходишься.

— Деверь я, вот именно деверь! — обрадовался Ряба.

— А ты? — спросила бабка другого студента.

— Я тоже деверь, — сказал студент. — Я его старшего брата жены брат. Так, значит, деверь.

— Нет, не деверь, — заспорила бабка.

— А я тебе, бабушка, говорю, что я деверь.

— Ан нет. Я лучше тебя знаю. Это ты ему самым настоящим шурином приходишься.

— Да что ты!

— Вот и что ты. Шурин — запомни.

— Шурин! Шурин! Шурин! — захохотал студент.

— Будешь ржать, дорогой шурин, — выгоню.

Шурин замолчал.

— Ну, а ты? — ткнула бабка в четвертого студента.

Тот сел и почесал затылок.

— Как тебе объяснить, хозяюшка, — начал он. — У нас с Халатом есть невесты. Так. Стало быть, невесты. Эти не-

весты между собою родные сестры. Мы, стало быть, им будем потом мужьями. Мы, стало быть...

— Стало быть, — перебила его бабка, — вы сейчас с Халатом вроде как я с вами, а ежели поженитесь на своих невестах, тогда свояками будете.

— Верно, свояками, — сказал студент.

— Ну, теперь последнее чадо еще осталось, — ткнула бабка в пятого студента. — Ты кто?

— Я вашего жильца и его отца земляк. На одной с ним русской земле родился.

— Ну, и то хлеб, хоть один не заврался. Вот что, родственнички почтенные: меня по двору не страмить, в окна не лазить, а ежели нужно — ходить в двери. А ты, Халат, мне за комнату будешь с нынешнего дня платить не девять рублей, а по рублю еще за каждого родственничка. Гостей у тебя пятеро. Стало быть, четырнадцать рублей. Понял?

— Понял, бабушка.

С этого вечера начала Халатова родня ходить в дверь. Чуть ли не каждый день приходила.

— Постой, Халат, — сказала как-то бабка, — или я ослепла, или мне мерещится, но, по-моему, у тебя каждый вечер все новая родня.

— Мерещится тебе, хозяюшка, мерещится, — засмеялся Халат. — Ты смотри получше.

— И смотреть нечего, один Ряба только и ходит часто, никак четвертый раз. А то все новые являются.

— Растут молодые, меняются, — сказал Халат.

— Ой, парень, плохо будет, если я переменюсь. Смотри у меня, — погрозила бабка.

Но самовары все-таки Халату и всей его родне ставила.

Студентов наших скоро узнал весь двор. Все к ним по делам приходили. То просили написать, то сосчитать что-нибудь.

А Милочка им прямо надоела. Что ни день, то приходила жалобу к мировому на кого-нибудь из своих угловых жильцов и жиличек писать.

— Гони ты ее в шею, — просил меня Халат.

— Что ты! Разве ее выгонишь? Легче тараканов с кухни вывести.

Даже Иваниха, лавочница, к студентам нашим раз приплелась. Много бумажек и толстую серую книгу принесла. В этой книге все ее должники переписаны были. С Иванихи за подсчет долгов студенты взяли и сахаром, и чаем, и ситным с колбасой. Меня и бабку хорошо угостили в этот день.

— Справедливые наши жильцы, — говорила про студентов бабка, — умные, жизнь знают. Со всеми поговорят, всех уважат. Хорошие люди.

И вдруг студенты, месяц-полтора пожив, пропали. День нет, два нет. Все о них беспокоились — и я, и дед, но больше всех бабка.

— Убили, не иначе как убили, — плакала бабушка. — Надо пойти в полицию заявить.

В комнате у студентов все оставалось так, точно вышли они на минуточку.

На сундуке, что у них столом был, краюха хлеба лежала, раскрытый перочинный нож и книга, а на книге конверт кому-то.

Посмотрела я на адрес, гляжу — написано: «бабушке Фекле Петровне».

— Письмо тебе, бабушка! — закричала я и разорвала конверт.

«Дорогая хозяюшка, — читала я вслух, — нас срочно вызвали домой, — проститься не смогли и за комнату заплатить тоже не успели. У старьевщика на Ново-Сивковской улице, второй дом от угла, заложены наши шинели за 9 рублей. Если можешь — выкупи их, — за них тебе любой даст за каждую

по 9 рублей. Книги мы дарим твоей внучке, пусть все их прочитает, — мы через несколько лет вернемся и обо всем ее спросим. Низко кланяемся хозяину, Маракулихе, Иванихе и прочим. Письмецо наше лучше сожгите. Очень мы вас, Фекла Петровна, уважали, так как вы есть настоящая русская пролетарская женщина. Одним словом — могиканша. Дай бог вам, дорогая мать наша, Фекла Петровна, легкой жизни и спокойной старости за все труды ваши. Желаем вам счастья и здоровья».

Слушая письмо, бабка плакала и вытирала слезы передником.

— Как-то все не так, — сказал дед, когда я ему прочитала письмо. — Все не как у людей.

Ночью нас разбудил звонок. Мы вскочили с кровати.

— Кто там? — спросила бабка.

— Телеграмма, откройте.

— Не пойму я, чего говорят, — задрожав вся, сказала бабка.

— Кому телеграмма? — спросила я и открыла дверь.

На пороге стоял жандармский, околодочный и четверо городовых.

— Ах, батюшки! — закричала бабка.

— Шуму не поднимать! — цыкнул околодочный. — Где студенты?

— Не знаю, — сказала бабушка, — два дня как не видала их.

— Разрешите, сударыня, осмотреть комнату? — спросил жандармский.

Бабка зажгла лампу и повела его в комнату жильцов.

Жандармский затренькал шпорами, путаясь в половиках, а за ним вперевалку зашаркали полицейские.

В комнате студентов как-то чудно̀ сразу стало и страшно. Лампа стоит на сундуке, а по стенам тени чужих людей от пола до потолка качаются.

— Тщательно обыскать, — приказал жандармский, а сам сел на ломаный стул и закурил.

— Что же это вы, сударь? — спросил он деда. — Нелегальную квартиру у себя устроили? Социалистов укрывали? Почему нам своевременно не донесли?

Дед стоял в одних подштанниках и молчал.

— Люди-то хорошие, — сказала бабка.

— Хорошие люди? — переспросил жандарм.

— У хороших людей, небось, мебель есть, вещи, — вмешался околодочный. — Хорошие люди дома ночуют, а эти где?

— Бог их знает, — сказала бабка. — Вольному воля, а они, батюшка, холостые.

Жандармский махнул на бабку рукой, встал и подошел к раскрытому сундуку.

— Взять с собой! — приказал он городовым.

— Там мои книги... Мне их подарили... — начала было я, но бабка щипнула меня так, что я ахнула и присела.

Городовые выкинули сундук и корзину на двор и погрузили на телегу. Только одни стулья в комнате остались.

Ушла полиция. И снова тихо на дворе стало.

Бабка вздыхая улеглась на кровать.

— Что деется, — плакала она, — не пойму. Беден — плох, богат — богу не пригоден. Не пойму никак. Куды письмо дела? — спросила она меня.

— В самоварную трубу засунула.

— Поди достань. Шинели надо будет выкупить: может, вернутся бедняги — отдам. Не пойму ничего, ни беса не пойму. Бедняги, вот уж бедняги!

ИВАН ШОРИН

ОДНОГОДКИ

АВТОЛИТОГРАФИЯ А. ПАХОМОВА

I

ШУРКА ГРАЧЕВ

В начале сентября, после первых дней занятий, пошел я с Шуркой Грачевым в лес глядеть его петельки, которые он ставил на тетеревей.

Мы с ним узнали друг дружку только за эти пять дней, потому что раньше я здесь не жил, а приехал сюда с матерью издалека.

День выдался теплый после всей той сырой погоды, которая стояла с самого моего приезда. Но уже видно было, что это не лето. Вот я и сам не знаю, как бы высказать, в чем тут разница: ведь и тепло еще, как в настоящий летний день, и всё стоит в своей прежней зелени, — не смотри, что рожь сжата, что картофель копают. А как глянешь кругом, на облачки, на лес, особенно вдаль, и еще как вдохнешь воздух, — тут уж сразу почувствуешь, что время-то совсем не летнее.

Первая брюква, которую я сегодня поутру выдернул, была уже холодна и крепка, на ней висели капельки воды. Это осень вылезает ночью росами и густыми туманами, а ко дню опять прячется в землю.

В воздухе бродит много разных запахов ото всего, что природа к этому времени народить успела, и самый сильный из них — солодовый, ржаной — так и бьет в нос. Сам воздух как будто тяжелее стал, и если тихий день, то никогда ни весной

ни летом не бывает так спокойно, как в эту пору. А облачки бегут, поодиночке или стайками, — и все сбиваются вместе на горизонте. И уж нечего и говорить, если птиц увидишь, когда, например, гуси-лебеди на небе узловатой ниткой потянутся.

Мне в это время, скажу, немного грустновато становится. За лето жизнь-то по кусочкам видишь, а тут вдруг всё и схватишь сразу, как будто на горку влез и с нее вниз смотришь. И без этого порой ошибки свои видишь. А тут кажется, — упустил ты чего-то, которого не вернуть, оставил что-то, которого не взять. Кажется, где-то настоящий друг есть, и он ищет тебя.

Я думаю, оттого такие мысли в голову приходят, что никогда мы не видим более сурового и простого дела, чем этот осенний отлет. Знаешь, куда и почему потянулись птицы, и понимаешь, что жизнь — строгая вещь.

Хорошо в это время дружбу заводить или разговоры такие, каких в другое время не начнешь, где и сам все расскажешь человеку, и он тебе, и не кажется в этом ничего особенного. Отчего так бывает? Может, это по старой привычке получается — с того времени, когда человек не такой был, как сейчас, а был как и всякий зверь, — ну, обезьяной, скажем. Но только не любим мы осенью поодиночке бывать, а тоже сгруживаемся, хоть не меньше чем подвое.

Заговорился я, да ведь нельзя — вспомнишь одно, вспомнишь другое.

Я это всё к тому веду, как быстро мы с Шуркой Грачевым сошлись. До того разговорились, пока в лес к петелькам ходили, что он мне самый главный случай из своей жизни рассказал про себя и про своего верного товарища Леньку.

Ну, да об этом еще речь впереди. А сначала про самого Шурку скажу.

Шурку Грачева я в классе сразу приметил. Он как по школе идет, все перед ним так и разливаются. Говорит — его слушают. Бороться станет — он всегда наверху. А это, скажу, у нас большое дело. Без этого редко полное уважение получишь. Все его силачом считают. И меня спроси — сказал бы то же: силач. Но вот третьего дня вышли мы около школы двор расчищать. Вижу я — откопал Шурка порядочный чурбак, попробовал было поднять, да и отошел прочь. Не под силу. А тут подоспел Сани везёны, — есть у нас такой парень, — оглядел чурбак и на плечо к себе взвалил. А кто у нас Сани везёны сильным считает? Один силач в классе — Шурка.

Тут я Шурку неприметно и рассмотрел, и даже сам удивился. Вовсе он небольшого роста (намного ли выше меня?). Тело чтобы было крепкое, — тоже нет, лицо не широкое и без румянца, а под дождичком он еще съежился.

Вот так силач! Откуда же всем такое внушение мог человек сделать? И тут я одно подметил: складный он больно. Плечи шире, чем туловище, много шире, а в поясе он совсем узкий. Видно, во что развитие идет в человеке. Руки будто на узлах в плечах ходят. Остановится, — сразу видишь: чувствует себя человек, и нога и рука свободны, врасплох его не собьешь. А на Сани везёны посмотри: столб, в тряпье замотанный, руки к плечам гвоздями прибиты, оттого и поворачиваются будто со скрипом, через силу. Все они — и Ячменина и Хвост — рядом с Шуркой точно фанерные. И у всех к тому же еще и животы, — отколи от большого школьного глобуса половину да и приставь — то же получится.

«Сани везёны», «Ячменина», «Хвост» — это у наших ребят прозвища такие. Все в классе с прозвищами. У иного целых три. Кличка — первое дело у нас в школе. Кому там надо Ивановых, Семеновых, Козловых! Одних Ивановых, небось, пятнадцать человек, — они бы все перепутались. А тут не собьешься, коли есть кличка.

На уроке учительница вызовет одного, — Семенова, скажем. И если только пальцем в него не ткнет, так сидит себе Семенов и ушами не шевелит. А вот как сзади подскажут: «Крот, тебя», — задвигается парень и, уходя, заднему шепнуть успеет:

— Ладно, Микита-Весло, получишь в перемену.

Дышло, Клещ, Журавель, Сковородка, Бобохин, Колька-Петух, — чего-чего на всех не придумано. И бывает, что такое имячко и в мужики с человеком пойдет. Уж и борода у него по пояс, а все еще видно, что его когда-то в школе Тютей звали.

Мне тоже успели кличку пришить. Кузовок да Кузовок, — отдери теперь. А отчего Кузовок? Неужели я такой? Да что же в семье меня никто так не сравнивал? В прежней школе меня Пупком звали, а теперь вот тебе — Кузовок.

И ведь сам я чувствую, — подходит как-то. Есть во мне то, к чему это новое имячко пристать может. Я коротыш немного и толстоват. Ничего особенного — не вырос. И поспать люблю, — от этого и толстею. Да ведь им-то до этого — дело?

А у Шурки прозванья нет. Сегодня назовут, а завтра отлипло.

Отчего это так?

Пригляделся я и понял, почему Шурке цена другая. Он умеет слово и дело всякое так повести, что они его выказывают: сказал — вышло, сделал — получилось.

А вот у наших ребят совсем этого нет. Сказать — любой что угодно наскажет. Только после ему же и говорят: «Ты в прошлый раз набредил, а оно совсем не так». — «Ну так что же, — ответит такой, — и соврать немного нельзя?»

Деловой парень Шурка, ко всякому делу прилипчив, а другие — те, что горох от барабана, от дела отскакивают.

Его, видно, и в колхозе уважают. Во всё ему входить дают. Раз я видел: сидит и трудкнижки сверяет. Любят везде таких владеющих, у которых в полную меру всего.

Я иногда думаю, кем ему быть, когда он большой вырастет.

Всякие должности ему вперед подбираю. И все кажется: нет, мало для Шурки. Дойду до самых высоких, — ну, сидит он, скажем, и всех, кого ни коснись, проверяет, — все ему должны ответ держать. И тут самому мне завидно станет перед его судьбой, хоть и не знаю я толком, в чем она.

Он петельки мастер ставить на тетеревей и ходит в лес всегда один, рано.

Знаю я, что он не любит, когда кто понапрасну за ним таскается, а все-таки попросился у него вчера, чтобы он и меня взял с собой. Не отказал.

— Коли тебе интересно, то пойдем, — говорит.

Вот и проснулся я сегодня в самую рань, чтобы не задержать Шурку. Темь еще была полная. Два раза подходил я к Шуркиным воротам, но не слышно было, чтобы кто-нибудь у них встал, — наверно, я поднялся еще ночью. В третий раз кто-то вышел, услыхал меня, что я топчусь на крыльце, и открыл сени, — это мать Шуркина была. Вошел я в избу. На полу спит Шурка между меньшим братишкой и сестренкой. Укрыты они рваным тряпьем, а не одеялом, под головами у всех одна большая соломенная подушка, а над ними зыбка висит, завешенная старой юбкой.

Шурка проснулся и, зевая, сказал:

— Рано, холодно изутра. Поди-ка, поспи еще. Я за тобой зайду.

Сходя по косым ступенькам, я думал: вот ведь какая бедность, а ничего! Придет он в школу и такое всем мнение задаст, как будто он князь прежний. А сам из экой избенки вылезает! Не надо и мне новых штанов просить, пусть мама не шьет, — беднее-то, поди, лучше. Стану как Шурка.

Ну, воротился я домой после этого и поспал еще часок.

Шурка зашел за мной, как обещался. С ним была его школьная сумка, — он всегда ее с собой в лес брал.

Мы вышли за деревню.

Отросшая после косьбы трава буйно зеленеет. И солнышко играет в небе точно летом.

Идем мы с Шуркой, молчим, еще не успели разговориться.

А хочется мне открыть ему нынче то, о чем я вот уже дней десять как думаю. Только кажется мне, что пионеру об этом думать не следует, — вроде как пустяками заниматься.

Достал я на днях книжечку — «Машина времени» по названию. Читал я ее два дня, с сарая не слезал, уроков не готовил.

И теперь вот все хожу, а книжку эту в голове ношу. Тем она меня взяла, что жизнь там показана и сзади и спереди. Спереди ее много, а потом — конец. Холод, солнышко не выходит, на земле от снега, который не тает, лед начинает образовываться, не видно ни дыма, ни огонька, — где же люди? Уж не стало всего света!

А я-то где тогда буду? Ведь не могу же я так вот и пропасть. Я задачи хорошо решаю и читаю много... Для чего же тогда всё? Не должен я исчезнуть.

Машину бы такую — да и улететь куда-нибудь, если уж тут лед стал образовываться. А куда? На всей ведь земле он — лед-то. И выхода нет никакого.

Иду я с Шуркой по лесу и думаю: авось Шурка послушает и скажет что-нибудь, чтобы мне свою ношу с плеч скинуть.

Думаю так про себя и околачиваю находу палкой сухие головочки трав. Шурка тоже как будто задумался.

Оборачиваюсь к нему.

— А как, Шурка, — говорю, — насчет жизни ты думаешь иногда?

— Какой жизни?

— Ну, самой жизни. Маловато что-то мы живем все. Гляди, состаришься, смерть придет, помирать нужно... Ты не думаешь об этом?

— Вон что! А ты разве думаешь?

— Думаю.

— Ну, так брось думать. Когда придет смерть и помирать нужно будет, тогда и подумаем.

— Нет, Шура, это не шутки. Не знаю, как ты смотришь, да ведь жить-то для чего-нибудь надо. Как же о смерти не подумать?

— Да для чего же нам об ней думать, раз она сама о каждом человеке заботится? У нас много есть, о чем подумать надо.

— Ну, о чем же?

— Да вот, мне кажется, тихо у нас в колхозе к новому повертываются. Мужики какие-то боязливые, всё ждут — научил бы кто. А я думаю, как бы это всё сразу переделать.

— А, ты вот о чем!

Вижу, Шурка на мои слова никакого ответа не дает. А мне скучно опять одному со своими мыслями оставаться. Что я — за всех ответчик, что ли!

— Видишь, Шурка, — говорю, — вон клен-громадина. Подумай, поди, сколько он лет на свете прожил. Нас видит, и деды наши, наверно, под ним в жниву квас пили.

— Так что тебе — жалко? Дереву завидуешь?

— Да как же ты не понимаешь, Шурка! Ведь вот мы учимся, учимся — и всё напрасно: самого главного, чтобы жизнь не кончалась, не можем сделать. А ученые — те еще, говорят, скорее умирают, чем неученые. Только в деревнях ведь дедушки и живы, а в городе — погляди, где они. Я думаю, лучше брошу всё и пойду на нашу реку плоты сплавлять, кашеваром меня возьмут. И всё-то я смотреть буду, всё замечать. А потом в другое место — на Волгу или там еще дальше — в Сибирь на Енисей. Так и пойдет: весна — осень, день — ночь. Понимаешь, тогда легче будет...

— Что легче?

— Да хоть и с жизнью расставаться!

— Я бы не так сделал, — сказал задумчиво Шурка, — и сделаю. Я дома работать стану. Выберут меня председателем колхоза, и буду я за каждым мужиком следом ходить, пока ему то, о чем я говорю, во сне сниться не станет. Так всех разагитирую, что они на год, скажем, праздники справлять перестанут, или свадьбы там, или еще чего лишнего делать не будут. Девкам тоже бы пока обождать наряды заводить. Через полтора года, мол, всё у вас, девки, будет. Ведь и ребята будут знать, что девки это для общего дела на себя приняли, и не станут на наряды глядеть. А что лишнее, то всё в одно, всё в одно место! Вот и закупили бы мы потом всяких самоновейших машин, какие только для обработки земли придуманы. А уж тогда бы сколько у нас земли прибавилось. Вон ту логовину видишь? Ничего там нет, закисла земля, травы не родит. А кустиков, кустов одних у нас сколько — их бы повыдрать все. Канавы прорыть, где болота. Ведь тут у нас какие топи есть, — скотина иной раз гибнет. Вот это бы всё разделать, да как следует, — зажили бы на чудо! А и всего каких-нибудь год, ну два.

— Все это верно, Шурка, но ведь лучше жить будешь, — значит, и жизнь скорее пройдет, вот самого главного-то и нет...

— Это ты все про жизнь-то тянешь?

— Да ничего я не тяну. Ты ведь не знаешь, какую я книжку прочитал. Вот послушай. Она в Англии была написана. Машину такую один придумал: повернет ручку — и пошла, пошла эта машина хоть на тысячу лет назад. Захочешь — останови машину и живи с теми людьми. А надоело — поверни другую ручку и вперед кати... И приехал наконец этот человек к такому месту, что уж на земле никого не осталось... Ну, ты слушаешь? А то я брошу.

— Верно, брось, не интересно. Может, в книжке твоей это все и лучше обсказано, а только я о таких делах и при брюш-

ной боли не подумаю. У нас интереснее. На что такие машины придумывать? Тут бы трактор, чтобы скип по восемь драл. Ты говоришь, книжка-то в Англии написана? И видно, что буржуйская выдумка. Им, буржуям, сейчас ни взад, ни вперед уж нельзя, — забастовки у них. Ни на какой они машине не уедут.

— Это ты, Шурка, уж повернул в другую сторону. Конечно, правда, у них там житья нет. Да книжка-то ведь какая, если бы ты знал.

Шурка покачал головой и так сильно хлестнул себя прутиком по босой ноге, что сам даже подпрыгнул.

— Ты вот говоришь, коротко мы живем. А вот я хотел бы, чтобы мне не двенадцать годов сейчас было, а все восемнадцать. Так и быть, подарил бы я кому-нибудь шесть годков, которые мне до совершеннолетия остались. На что они мне? Теперь жить-то надо ходчей да ходчей. Не интересно маленьким быть!

Эх, так и не сговориться мне, видно, с Шуркой.

Идем мы дальше, полями идем, уж лес придвигается к нам, а мне все кажется, что мы с ним один против другого два войска ведем. Я выставлю — он бьет. И всё мои солдатики не устаивают.

Шагает он со своей серенькой сумкой, и портошницы у него на ногах такие смешные, — загнулись вверх рубцами, да так и держатся, точно кожаные, — и локти острые сквозь худые рукава проступают. А он себе идет — и носом, тоже немного вверх загнутым, будто над всеми полями плывет. Гляжу я на него и думаю: хозяин, да и только.

А Шурка вытянул босую ногу и осторожно ступает в лужу. Потом поднял другую и перескочил на сухое место. Шагает себе опять по тропочке, покачивает сумкой, молчит, будто меня и вовсе нет.

Что бы мне такое ему сказать теперь?

— Шурка, — спрашиваю, — ты вчерашнюю задачу-то решил?

Шурка ко мне обернулся.

— Решил. Она простая. Найди, сколько на гектар семян пойдет, а потом все колхозные семена и раздели на это число. Вот и узнаешь, сколько всего засеяно было. Да что! Это всё задачи выдуманные, настоящих нет. Хоть бы такие задачи задавали — как человека, скажем, выручить или делу выход найти. А таких нет. Вот мы с Ленькой наскочили раз в колхозе на задачу, — так три дня ее решали. У нас в колхозе возчик был, Иван, — ты еще не знаешь. Он молоко на пункт возил, и вышла у него недостача молока — раз, и другой, и третий нехватает. Стали концы искать, куда он молоко девает. А Иван отпирается. «Не брал, — говорит, — и все тут». Ну, тянулось это дело и тянулось. И вдруг прибегает этот самый возчик Иван и начинает ругаться по чем зря. «Вы, — говорит, — бак-то мне какой дали? А сами с меня спрашиваете». Посмотрели бак — и верно: на дне у него дырка, как гвоздем ткнута. Вот и порешило правление бак сменить. А мне что-то в голову запало — да так ли все это дело было? На постели лежу ночью, а сам все думаю. И вот додумался. Утром пошли мы с Ленькой на скотную водогрейку, смотрим — никого нет. Взяли мы этот дырявый бак, налили водой и на два полена поставили, а между поленьями корытце поместили — под самое дно бака. Сидим и смотрим на ходики на стене, замечаем, как вода течет. В четыре минуты литр выливается. Мы и раз и два проверили — все около этого. Идем мы домой и считаем: до пункта езды тридцать пять минут, — значит, вытечь должно восемь с лишним литров. Ну, молоко-то погуще, чем вода, — значит, восемь вытечет. А у Ивана недостача была на круг какая? Три литра в день. Вот в чем дело, значит. Решили мы эту задачу — и побежали с Ленькой в правление. Там послушали нас и заинтересовались. Сейчас же велели дырявый бак молоком налить и

поехали с ним на пункт. Едут — дорогу молоком поливают. А как доехали, сосчитали: вытекло семь и три четверти литра. Значит, на четверть литра мы всего обсчитались. Ну, Иван возчик сразу и признался: брал себе, говорит, по три литра, а в оправдание дырку на дне гвоздем проковырял. Вот задачи какие бывают.

Мы подошли к самому лесу, который начинался сразу у поля, и Шурка показал мне рукой на открытое место, сплошь усеянное пеньками.

— Вот на что я всегда гляжу, — сказал он, — видишь, это наши «пенники». Точно белые грибы, пни торчат. В каждом — гниль, около — брусничник несъедобный да ползучая трава-дерюга стелется. От пеньков труха на поле летит. А чего бы тут можно было сделать, кабы приняться пни корчевать: и траву бы сеяли, и хлеб, и лен... С ума нейдет!

Тут мы пересекли поляну и вступили в густой осинничек, среди которого кое-где белели березки.

Вот и петельки Шуркины, привязанные к пригнутым молодым березкам. Шурка посмотрел и махнул рукой, — никого в петельках нет. Кругом гладкая ровная трава, и не видно на ней никаких знаков. Но Шурка чему-то не доверяет, что-то приметил: идет все в одну сторону, будто по проведенной черте. И вдру нагнулся. Вижу — там еще одна приклоненная березка.

— Вот ведь, — показал мне Шурка на пустую петельку, которая болталась четверти на три от земли. — Видишь, кто перехватил у меня тетерку? Я уж заметил ее лапку в одной луночке. Спроворила, небось, в петлю-то морду не всунула. Эх, и досталась бы она мне нынче на шапку, а не то бы в Промохоту пошла — на сахар да на табак тятьке. А ты-то тоже хороша, — не могла разогнуться побольше!

Шурка поколотил березку по белому стволику.

— Да ты скажи, Шурка, что тут было? Не попала? Улетела? — спрашиваю я, не понимая хорошенько, в чем дело.

— Что было? — отвечает Шурка. — Да ничего такого особенного. Тетерку затянуло и подвесило, да только невысоко, всего четверти на три от земли. Тут-то лиса ее прямо с земли и достала. Погляди, сколько она «лапок» своих оставила. А съела она тетерку начисто, без пуху. Может, ей и волк помог. Ну да, так и есть, — вот и его лапа. Значит, и лисе-то не пришлось вдоволь наесться. Утащил серый птицу — вон куда след пошел... Жалко, Леньки здесь нет, он бы вам обоим капкан поставил, не ушли бы от него.

Шурка направил опять все петельки.

— Ну, пусть стоят.

А сам отошел в сторону, где лежала куча сухого хвороста.

— Давай подожжем, — сказал я, указывая на кучу.

— Да нет, что ты! Они мало что неделю после этого здесь садиться не будут. Даром что птицы, а всё помнят. Поди-ка, обмани их. Посидим лучше так.

Мы сели.

— Да... — сказал Шурка. — Гляжу я на ребят наших,— неподходящие все они какие-то. Не тем дышат. Сколько ни водишься с ними, а бросишь их — и не скучно. А без Леньки я как вот неполный человек получаюсь.

Я помялся, — а сказать мне нечего, неловко. Далекий, видно, друг я Шурке, хоть и не думал так до этой поры.

— А что этот самый Ленька, про которого ты говоришь, уехал куда-нибудь?

— Не уехал. Куда он уедет? Он здешний. А только с неделю как его в больницу повалили.

Я покачал головой, — как вот и мне жалко Леньку.

— А он что — такой же, как ты? С тебя или боле? — спрашиваю.

Очень уж хочется мне с Шуркой душевный разговор завести. Да не берет он меня себе в дружки, и от этого еще более лестно выведать у него, чего он другому, поди, в жизни не откроет.

— Такой же, как я, — сказал Шурка, — одна бабка в один день приняла нас и про обоих сказала: эти свой век проживут.

— Да, бывает, — ответил я, лишь бы только продолжать разговор. — Вот когда дружно живешь с кем, так и расстаться не хочется, жизнь бы всю прожили вместе. А потом, глядишь, судьба и разведет...

Шурке мои слова что-то не понравились (тонкий парень, что и говорить!).

Посмотрел он на меня сбоку и сказал:

— Судьба, говоришь? Какая там судьба! Нет у человека в жизни огорода, в котором он бы как спутанная лошадь пасся! Что, я не могу ногу свою вот так отставить, коли захочу? Ведь могу? А что до расставанья, так я с кем угодно расстанусь, если он мне поперек дороги ложится. И с Ленькой у нас уж дело до полного раздора доходило. Я тебе все расскажу, чтобы ты понятие имел, как это в жизни бывает...

Мы сидели на куче срубленных прутьев ольшаника. Хорошо на них сидеть: чуть шевельнешься, прутья мягко прогнутся под тобой, а потом так и подымут тебя на своем упругом горбу. Уж, кажется, сидел бы и не вставал так до самого вечера. Укромно здесь и спокойно.

Воздух заметными клубами стелется в сырых оврагах. Синее небо не имеет конца. Оно идет туда, где и черточка заметная уже не отделяет его от земли. Осеннее это небо. Скоро изо всех его заплат покаплет, заморосит, задождит.

Носу тогда в этот лес не высунешь.

II

ЛОШАДЬ

(Рассказ Шурки Грачева)

Я как только и помню, — у нас всё не было лошади. У нас ведь такая семья, — всё что ни на есть пустой народ: ртов много — работать некому. Я самый старший, а по-за мне еще четыре человека — горох, работники только за столом. А что было! У мамы всё родятся и родятся. Иной раз кажется, на что мы ей, а нас всё одного к одному на свет прибавляет. И что ни год, то хлеба нам больше давай. Всё начисто съедаем, еле с года на год перебиваемся. А скота у нас — ветер во дворе заперт. Только в хлеву одном корова живым паром дышит, а кругом зимой так во всех углах промораживает... Выйдешь с огнем, — иней блестит изо всех щелей, весело... С такого двора бежишь скорее в избу и думаешь: когда, когда всё будет как у других людей? Нету лошади. А что крестьянин без лошади? Костыль в поле, который стоит без огорода и подпирает ходючий ветер.

Первое дело в хозяйстве своя лошадь. Так ведь и считают: те, которые с лошадьми живут, и безлошадники. Сердце рвется с горя, как нет лошади. Во всем тебе помеха; всё после людей делаешь, и прозеваешь из-за этого и упустишь много.

Иногда на сенокосе день хороший, да сено-то далеко — и всё в разных местах. Прибежишь на покос, а делать-то и нечего: надо бы привезти сено к одному месту и сушить бы поскорее, а на чем? — Нету лошади. Все люди телегами по лесу стрекочут, никому до тебя дела нет. Тятька мой сидит себе, бывало, и палочкой какую-нибудь земляную блоху на свой сапог не пускает, а та лезет. А матка так и кружится, за всё берется, всё бросает — это у ней от сердца от большого. Нас-то гоняет: «Беги ты к Антипу, поди, кончил. Проси заупрос, — метать надо. Скажи, в жниву отработаем. А мы пока давайте

хоть самые ближние копны поднесем на руках. Ой, и роса-то вся сошла, а у нас ничего не делано!»

Пойдешь — несешь — да через кочки, да через пни, и обязательно где-нибудь свалишь. Маяты-то сколько!

А к тому, с лошадью-то, бывает, двое таких безлошадников прибегают. А он уж и ломается: и колесо-то у него чуть-чуть, и сбруя слабая, уж только через великую осторожность, коли можно...

— Вот, — жалуется, — сегодня Машка моя со двора будто неохотно шла. Кто ее знает, — может, попортили. Вчерась Егор брал, телеги большие, говорят, возил, — тоже совесть у людей...

Поддакивают бедняки ему, светлобородому.

— Уж известно, Антип Захарыч, какой народ нонче... Ну да кто как, а на наши руки сдавай, — как за своей угляд будет.

Посмеивается Антип, а сам такой же светлый и неменяющийся, как и то солнышко, которое светит, кажись, только ему одному.

И я со всеми Антипу кланяюсь:

— Дай нам, — в жниву, мама сказала, отработаем.

— Все можем отработать! — перекрикивает меня голь родная.

— Ну, уж ладно, — говорит Антип, — бери ты, Сашунька, твоя матка зря слова не сронит.

Заеду я за чащу и так вздую Машку — Антипову стерьву,— что она летает уж потом в телеге как бешеная. Глядишь, — все поскорее тятька с мамой управятся. А то сами они тронуть ее боятся: чужая лошадь — нельзя.

Одно горе — поздно начинаем. Иногда вёдро только до полудня и простоит, — перемочит всё, киселем сделает, как вот и солнышко-то против безлошадников. У тех, с лошадьми, работа ко времени скончена, чай пьют, ненастье пережидают.

— Ну уж, — говорят, — и денёк сегодня был, упарил. А вы разве не успели?..

Где уж нам! За лодырей недаром слывем.

Эх, время, — кажется, и не вспоминал бы!

А уж другое возьми — ночное. Как погонят все ребята своих лошадей в ночь пасти. Из деревни каждый вылетает на всем скаку. Чувствует — люди смотрят, свой батька глазами провожает: ну и сын, ну и лошадь!

Не удержаться и тебе. И хоть не лежит сердце, а пойдешь к тому, у кого своих маленьких нет, — и как за великую милость просишь: дай, я твоего коня всю ночь прокараулю.

Сядешь, нукнешь, а она не слушается — не своя.

— Ты, Саша, — говорит хозяин, — не гони ее даром, вишь, у ей копыто расщербилось, как бы не сбила, — порча великая. Не гляди на озорников, не гонись за ними, а поезжай себе с богом помаленьку... П-п... но!

— Я ничего, дядя Сысой, я так и поеду всю дорогу...

— Трухни, трухни уж малость, антиресно маленькому, сам знаю. Да только порча у ней великая, совсем бегом нельзя... Немножко, — где по мякоти, по мякоти, Шура, сподволь.

Сам не знаешь, ехать или не ехать. Ребята на улице смеются:

— Шурка, дай курице пройти, не растопчь.

Отъедешь подальше, да и пустишь коня во-всю. А только нет тебе настоящего веселья от этого, обиды больше.

Неполный это человек, когда у него во дворе конское копыто не ночует.

Не один я страдал, страдал и Ленька, мой товарищ. У него семья хоть и крепче нашей была, но своей лошади тоже не имели.

В ту пору у нас с ним только и разговору было, что о лошадях. Болезни конские наперечет знаем и как лучше выкор-

мить, и какие норовы бывают, и по зубам года скажем, а вот нет и нет своих лошадей.

На ярманке мы с ним раз были, целый день в конском ряду протолкались, а подходящих коней мало видали. Двум нашим мужикам все-таки помогли: цыган чуть их не надул. Мужички пришли пьяные, а у цыгана лошадь тоже пьяная напоена. Им бы нюхнуть, так сразу бы узнали, да у них своего пьяного духу хоть отбавляй. Сели пьяные мужики на пьяную лошадь и по базару понеслись. Адская сила бывает у пьяной лошади, — бежит она, не видя свету. Такое окажет, чего у ней и от рождения быть не могло, — как есть дикая. Мужики наши это и сосчитали за огонь настоящий. Хлопают ее, ходят вокруг. «Ну и конек! Нам такого беса и нужно».

А она, конечно, на месте не стоит, всё беспокоится, как и полагается бесу. Удила грызет, ногой землю роет, самого цыгана уже не признает. А глаза, — как и у человека, хуже еще, — хмель выдают. Отозвал Ленька одного мужика, говорит ему: «Надувает тебя цыган». А дядька — ни в какую. «Что хочу, — говорит, — то и заворочу!» Вижу, что он теперь на точке, и скорей наших деревенских искать. Привел дядю Егора, тот его и уговорил. «Брось, Иван Герасимов. Хочешь чуда, так вон у другого цыгана — медведь, тоже продает».

Одумался Иван Герасимов. А нам с Ленькой цыганка за отговор таких только блох не насулила.

А на другой день этот же цыган на своем чуде (только не на пьяном) по нашей деревне, глядим, плетется. Еле-еле вывозит его Пегашка, голова до земли опущена: похмелье-то, видно, у всех одинаково.

Большое спасибо нам с Ленькой Иван Герасимов сказал.

— Хмель хмелем, — говорит, — ребята, а опохмелки были бы у меня худые, кабы не спроворили вы от такого дела оттянуть. Молодцы.

А у нас после ярманки стало это желанье к лошадям вроде болезни, только лечиться нечем. Еще за работой — сносное дело, забываешься, а вот в праздник, или когда обоим череда овец пасти выпадет, тут уж все наши разговоры об одном.

Сидим, бывало, с Ленькой. Овцы наши разбредутся по своей охоте, а у нас глаза так и тянутся в сторону табуна. И хоть знаешь, что чего уж спрашивать, а все-таки не удержишься:

— Ленька, ты которую бы хотел?

— Не знаю, — подумает Ленька, как будто стоит ему это дело всего: скажи — и лошадь будет. — Ведь тут много чего можно насказать, коли выбирать начнешь. У нас здесь таких и нету. Разве что Машка Антипова — во всех статьях лошадь. Да только я не хочу ее, Антипову породу... Большое дело — масть у лошади. Пегую ты бы взял? И я нет. Хорошо, если бы смоляная вся была, а ноги от щеток белые, как в чулках. Этакую лошадь — я в город с тятькой ездил — и у одного военного видел. Рост? Я бы взял — уж самая какая ни на есть высокая будь. С нее смотреть-то — как орлом плывешь. А тут в другой раз я в городе был и у милиционера видел: маленькая, как клубок, и такая же гладкая, а огня в ней! Тоже хорошо эту лошадь. Ее и накормить легче, а если приручить, она будет верная, как пес. Ее за кустом большим упрятать можно.

— А это зачем?

— Да уж так, я что-то слыхал, где-то это надо... И сам я думаю, что хорошо, когда она такая. А вот еще раз видел я лошадь просто у парня, — серая, пятнистая в яблоках. Ну, я чуть не забыл всё — уж, кажется, никакой боле не надо. А как залегела она за поворот, то все-таки опять — смоляную, черную... А тебе какую?

— Да тоже бы смоляную черную. А то нет! Если бы мы с тобой рядом ехали, так ты бы на черной, смоляной, а я на

сивой, гривастой, и ветром бы у ей гриву так... Только хорошо тоже, когда оба на смоляных. Кто встретился, сказал бы: вон двое... вишь, как едут, двое...

После только в глаза друг другу посмотрим, — прочухаемся и видим, что ничего взаправдашнего нет.

— Подь ты, Шурка, в тот край, — скажет Ленька, — а я пойду с этого конца — посгрудим овец-то. Ишь, рассыпались все.

Сгоним овец грудно и встретимся у одного места. И опять про то же думаем. Всякое в голову лезет.

Вот если бы от Антиповой кобылы Машки взять бы нам жеребенка, который такой хороший, да и свесть бы его тайно в лес. Машку-то мы не любили, а вот к жеребенку ее нет-нет и приглядывались, — безвиннее он нам казался. Свесть бы его в лес, а самим поочереди его караулить и кормить. Гулять-то ему нельзя, — увидят, коли искать станут. А потом, как поокрепнет, — мы и забыли, что для этого две зимы надо, — сесть на него и через весь лес наш, который обручем обмыкает деревню, и ускакать. Ускакать туда, назад. Впереди-то у нас город.

«Сзади» и «спереди» я считал так: что за хлевами у нас, где гумна, то «сзади», а впереди окон нашей избы это и есть «спереди». Мне тогда еще казалось, что там, сзади нас, никакой настоящей жизни нет. Может, там, что хочешь, то и бери себе. Появиться бы там залесным парнем да и делать, что вздумается.

А иной раз иду я по лесу и думаю: не выйдет ли вдруг из лесу чудный жеребеночек, который ничей, а мне бы его поймать, и сделался бы он навсегда моим.

Сейчас смешно, а тогда — верилось.

Пока мы так жили, для Леньки то, о чем мы думали, в жизни исполнилось. Васька, его старший брат, уехал на Мурман в заработки.

«Десять месяцев, — писал он в письме, — камень колочу, холод терплю, под ветром на горах стоя. И всё свои желанья вижу — под камнем лошадь, вот я и долблю. Камень-то сам золотой, удобрительный камень, заместо навоза в землю идет. Ужо-ка снимете урожай за Васькины старанья, а ему лошадь за это. Пятую сотню, мама и тятя, коплю — скоро домой ждите».

Всё письмо такое радостное. Гордость Васькина из-под всякой строчки так и лезет. И то: в первый раз в чужой стороне, да такой молодой, — надо смелость иметь.

Мне Ленька письмо показал и спрашивает меня:

— А не обокрадут Ваську? Говорят, в Питере раньше находу подметки срезали, — дядя Егор сказывал. А Ваське-то как раз через Ленинград с Мурманска ехать надо.

— Мало ли чего раньше не бывало в Питере. На то царь тогда был. Ну, а теперь что бы этакое допустили, да еще если человек в холоде на горе под ветром стоял?.. Не допустят. Привезет Васька деньги целехоньки. Вот не прогулял бы только.

— Что ты! Уж этого он не сделает. Станет ли он по легкости деньги пускать? Кабы не своим горбом натружены были!

— А у кого коня покупать-то будете? — осторожно спрашивал я. — Не наценились еще?

— Вот и не знаем. Тятя еще не хочет никому об этом говорить. По семенам, говорит, и грядка. Кто еще знает, сколько у него к дому денег останется. Только раз я уже слышал разговор их с дядей Егором. Дядя Егор каждую лошадь видит, какая она, и наперед тебе скажет, что эта стоющая, а из этой ничего не выйдет. Помнишь, как он Филатовым говорил, что не ждите много от жеребчика: рыси не будет — середняя лошадь. Так оно и вышло. Жеребчик им ничего и не оказал, — просто с корму хорошего купили его, он и был веселый. А нам дядя Егор советует, что уж если брать, так лучше не будет, как от Машки, Антиповой кобылы, жеребчика. Лошадь будет.

И в работу годна. А если хотите у ней бег получить, говорит, если это вам лестно, то из нее можно разработать и рысака, — только дольше придется вам без лошади жить. Ей тогда совсем другое обращенье надобно, чтобы по легкости работала.

Так проходило у нас с Ленькой время в разговорах, пока сам Васька с Мурмана не приехал.

А на другой день иду я и вижу: около Антипова двора народ собрался. И Ленька тут же между большими вертится.

Я подошел. Антип с Миколаем, Ленькиным отцом, уже по рукам хлопают.

— Наторговали, — сказал мне Ленька, — за четыре сотни, и литки с тятьки моего.

Сам Миколай повел жеребчика к себе на двор, а мы с Ленькой сзади шагаем. Только Ленька нет-нет и забудется: бросит меня, а сам в сторону забежит — чего-то под ноги жеребчику смотрит: две соломинки у него с бока снял, по норке его гладит. Потом опять меня вспомнит и опять ко мне бежит.

— Знаешь, — говорит, — я рад. Наш теперь жеребчик будет.

Видно, ему не верилось еще.

Подошли к Ленькиному двору. Ворота Пелагея отворила.

— Ну, всё теперь на людей похожи, — сказал Миколай, когда жеребчик вошел во двор.

Вся Миколаева семья забегала вокруг жеребчика. Кто сена ему, кто болтушки. А Ленька сбегал и в лукошке овса притащил. Одно, другое ему подставляют, из рук кормят — на землю не ставят.

Ленька окрестил жеребчика «Резвым». И верно, Резвый был особенный жеребчик, и это имя к нему шло.

Вычищенный Ленькой, он стоит, и каждая жилка в нем с другой разговаривает. Чуть шорох, — вскинет голову, уши

насторожит и слушает, слушает. А глаза — в каждом по искре величиной с горошину. В ногах у него как будто не кости, а резиновые мячи. Он иногда подпрыгивает весь сразу с четырех ног — легкий, словно в его теле и весу нет, а живет одна сила.

Меня занимала его чуткость: ворона на крышу двора сядет, — он уже слышит, насторожится, вот как застыл, есть перестанет, хоть крупы ему овсяной насыпь. А наших лошадей возьми, — да им, кроме корму, ничего, кажется, в свете не интересно. А у Резвого как будто обо всем понятие есть. И от этого-то и краса — огонь самый.

Не оторвешься от него, как Васька выведет его на веревке на улицу и даст ему волю поиграть. Он бежит вначале как-то боком, подогнув голову, и всё натягивает веревку. Васька — дюжой парень, а чуть захочет «Резвый», чуть подразбежится — и, глядишь, чертит Васька ногами землю, мочи нет устоять перед такой силой. И шаловливый какой, до страсти. Мы стоим с Ленькой за углом, друг дружке в руку ногтями впиваемся, смотрим. Да ведь и как же? Вот добежит он до какого-нибудь черного бугорка земли и остановится как вкопанный. Смотрит-смотрит на него, а потом вдруг повернет и во всю прыть обратно к Ваське несется (вот тут страшно!). Бежит, как не видит. И Васька тоже — страху в нем никакого — стоит, чуть зубы скалит. А Резвый перед Васькой вдруг остановится, да так круто, что задние ноги в землю даже врежутся, и на дыбы встанет. С передними ногами над Васькиной головой так и стоит. Поглядишь — думаешь: он и лошадью-то никогда не бывал! Страшный, а глаза так и прожигают Ваську своим огнем. И хоть нету сейчас у Васьки власти над конем, а веревку он держит. Да что веревка! Резвый пробил бы ему копытами голову, лишь бы только захотел. Может, он и сделал бы это — попробуй Васька защититься, в испуг приди.

Но сила ломит силу. Человек сильнее лошади. Вот Резвый

тихонько сгибает передние ноги и опускает их на землю, а сам уже просит только, чтобы его поласкали, и голову нагнет. Видно теперь, что это скотина и хозяина своего знает. А раньше ведь! Играет страшно. Поросенка али курицу увидит — нет удержу, сейчас за ними. Бедные только успеют в первую подворотню скрыться, а то — раздавит.

Вместе с Ленькой провожаем мы Резвого до ворот. Ленька радостен, ворота распахивает во всю ширь: ну, подь к себе на двор, игривой!

Настоящие мы с Ленькой друзья: никакой нечистоты, даже самой маленькой, один против другого в душе держать не можем. Оттого-то я сразу заметил, что тяжело мне что-то у чужих ворот стоять, коль в свои заводить некого.

Они там у себя во дворе бегают, несут Резвому поесть или попить, а я один стою и не своим делаюсь. И бывает, что они вовсе забудут про меня, даже Ленька не вспомнит, и только потом спохватится: Шурка-то где?

— Тут я, — отвечаю я из уголочка, куда как-то сам собой прибьюсь. (В темноте-то, говорят, нехорошие мысли прячут.)

А Васька, — кто его знает, понимает ли он, что у меня на душе делается, — а только скажет иногда, как ножиком по сердцу резанет:

— Ну, что стоишь серый? Купи коня. Давай за него Митьку с Глашкой, ну? Да гармонию напридачу?

Чего-то обидно станет, хоть и знаю, что шутит Васька. Митька с Глашкой по-за мне самые меньшие. Глашка только ползать начала, — никому их и даром не свалишь.

А гармония у меня, сам понимал я, чего стоит: голоса как от всех зверей; нажимать станешь— басовики что бараны в рев пустятся; а в мехах, кроме всего, от дыр будто кто громко вздыхать начинает.

А Ленька, товарищ мой верный, может, заметит, что обижусь

я. Подойдет ко мне и уговаривать меня начнет, — что вот, бывает, недорого продают и хороших жеребят. Если купить маленького жеребеночка, совсем маленького, то стоит он не дороже телушки. А будешь за ним хорошо ходить — можно развить лошадь не хуже Резвого.

И опять забывает Ленька про меня, — своим только полон теперь.

— Мы-то вот, — говорит, — так и не знаем, кого из Резвого сделать. Я все на том стою, чтобы Резвый был рысаком, коли уж он это может. Верно ведь? И Васька тоже вначале стоял на этом. Да Васька жениться хочет. И раз, я слышал, он Маньке Капустиной говорил: «Мне, мол, иначе нельзя тебя брать, пока я из своей лошади чего хочу не сделаю. Зато у нас, Маня, рысак будет». Только Манька начала тут его просить. «Нам, — говорит, — Вася, не к чему напогляд делать, лучше мы с тобой сейчас поженимся». Васька ей и уступил. И уж хочет бревна из лесу на Резвом возить, в отдел от нас пойдет. Я ему за столом при тятьке все высказал. «Удался, — говорю, — со своей Манькой! Вот и сделал из Резвого чего хотел. А, может, лошадь-то еще не твоя будет?»

Тятя меня ложкой по лбу треснул — он на Ваську сердился, что тот жениться вздумал, а сорвал на мне. «Не суйся,— говорит, — помалкивай!» И с Васькой потом поспорил. И с тех пор Ваську не поймешь, чего он хочет. Я уж знаю, они такие какие-то все. У них нет того, чтобы, как мне, скажем, ничего не надо, а вот только это мне надо. Им лишь бы жить...

Ленька говорит, а я его слушаю.

Прежде я и обрадован и обижен бывал тем же самым, что и Ленька. А теперь вдруг подумалось:

«А мне-то что? У меня-то ведь совсем нет лошади — за кого же мне страдать, за тебя или за себя?»

И тут я почувствовал, что люди не могут хорошо думать

друг о друге, когда у одного есть, а у другого нет. Ниточка уж промеж нами протянулась.

Да вслух я этого не сказал, пристыдился. А сказал только, что никак не надо дозволять Ваське бревна на Резвом возить. Может, из Резвого, — кто знает, что выйдет: вдруг у него бег объявится, какого и в свете нет.

После этого разговора мы скорее, чем всегда, по домам разошлись. Ничего между нами не вышло, а чувство осталось нехорошее. С ним я и домой ушел.

Резвого все-таки скоро объездили, не стали из него рысака разрабатывать.

Ленька по-товарищески давал и мне каждый раз на нем прокатываться, когда нам случалось гонять его в поле или с поля.

Чудный это был конек! Как пересяду я на него с другой лошади (я попрежнему ездил на чужой), казалось мне, что подо мной не лошадь, а клубок ветра. До того он был легок в беге.

Как-то у нас установилось, что до ручья едет Ленька, а от ручья до нашей поскотины еду я. Леньке доставались две трети дороги, а мне одна треть.

И хоть старался Ленька удовлетворить меня, как мог, да не было между нами прежнего. На улице у нас все по-старому: обидь одного — второй рядом, задел его — со мной счет имей. Да только дружба уже не та. Где они — разговоры наши бывалые? Теперь у него есть, у меня нет — и всё тут. Вот и сказалась разница в состояниях.

А один случай порешил всё между нами. И чем дальше, тем больше в сторону повели нас друг от друга наши дорожки.

Раз вечерком, в жниву, погнал Ленька Резвого на поскотину и меня кличет.

Я только рукой махнул: да на чем же я поеду!

— А вон дядя Егор своего Фронтового выпрягает, бери и дуй — гони за мной.

Поглядел я, а дядя Егор и сам меня пальцем манит — надо ему лошадь в поскотину погнать.

Сел я на Фронтового, и мы поехали.

Фронтовой — такая лошадь, что каждый ее поневоле заметит. Она у дяди Егора двенадцатый год служит — куплена после того, как дядя Егор из германского плена пришел.

Дядя Егор, когда на царскую войну уходил, оставил хозяйство не слабое, и лошадь у него была, сказывают, во всех статьях.

А когда его на фронт взяли, так и лошадь следом за ним на войну к царю пошла.

Вернулся дядя Егор, а война все его хозяйство досконально разорила. Запродал он свое барахлишко и купил теперешнюю калеку. Сам ей и кличку дал, — это, говорит, мне от царя награждение за фронтовую службу.

С Фронтовым у нас всякий мальчишка за версту здоровается. Завидят ребята, как он с поля идет, и бегут к нему навстречу.

— Фронтовой! Фронтовой! Где побыл? Чего это у тебя с задней ногой? Лягнул кого?

А Фронтовой идет себе потихоньку, мало на кого и смотрит. А если посмотрит, так будто скажет глазами: «Фронтовой я и есть, чего уж тут!..»

Такой он какой-то весь, точно его долго мяли, не разбирая, где голова, где хвост. А с ногами у него каждый день беда. Так и смотрят, бывало, ребята, которая сегодня фальшивит. Вчера он чуть левую заднюю волочил, нынче на правую переднюю припадает, а завтра, глядишь, у него уж правая задняя не идет.

— Экий притворщик! — кричат ему ребята. — А ну-ка, покажи, как ты на фронте от ядер бегал! — И погонят его.

А все-таки любили мы Фронтового за его незлопамятливость.

Маленькие у него прямо под ногами ползают, а он ни на кого копытом не наступит, никого не ушибет. Один раз целая куча ребят ухватилась друг за дружку и давай его за хвост тянуть. Перетянули ведь Фронтового!

Он вначале-то не хотел сдаваться, всеми копытами в землю упирался, а ребятам это и любо. Тянули, тянули и перетянули. Смеются:

— Попал, — говорят, — Фронтовой, в плен, худо ты царю служишь!

Так вот, поехали мы с Ленькой. Он на Резвом, я на Фронтовом. Хмурый я сижу, не смотрю, как мой коняга камни по дороге считает (на этот раз у него левая передняя пошаливала).

— Подбавь, подбавь! — кричит Ленька с Резвого.

Ему то и дело останавливаться приходится. Что Резвый за минуту покроет, то Фронтовому за десять не одолеть.

— Да что ты? — оборачивается Ленька. — Хоть бы немного за мной поспевал.

— Не стану я его мучить. Что скотину зря тяжелить? Все равно она больше не сможет.

— Ну, так и быть, пересаживайся на моего. Занятно после Резвого на Фронтовом побывать. Дожидайся меня около камня.

Сменились мы с Ленькой.

Я, как попаду на Резвого, так всегда мне кажется, будто я что особенное сделал. А тут как раз прочитал я недавно книжку «Красная кавалерия», — и чудится мне, будто я в разведку еду и меня неприятель хорошо знает, а свои и тем более. От этого я стараюсь держаться на коне фасонистее, и самая большая обида для меня в это время, если кто учить или указывать начнет.

Пересел я на Резвого, крепко взял его за поводья и стукнул по брюху пятками точно шпорами (как про это написано в «Красной кавалерии»).

Резвый совсем меня не понял. Он шел, опустив морду, и щипал придорожную траву.

Я дернул за повод, но он на это только потянул меня поближе к огороду, где из-под жердей выбивался дикий клевер. Тут я в сердцах сильно ударил его концом повода, а Резвого никто еще не хлестал. Резвый подпрыгнул со всех четырех ног, а потом на дыбы встал, — я думал, опрокинется. Верно, я его шибко разобидел. Не хочет он бежать как надо, свое гнет: то подбежит вперед и станет, то в сторону шарахнется.

Видит Ленька, какой у нас с Резвым разлад вышел.

— Дай, дай! — кричит. — Погоди, вот я сяду! Слазь — он тебя все равно теперь не послушает.

— Да нет, — отвечаю я. — Что я — лошадей не знаю, что ли? Вот я его отучу дурить.

И я начал удилами вывертывать Резвому голову. Резвый рванул повода, будто хотел вырвать их у меня из рук.

А Ленька подскакивает ко мне на своем Фронтовом.

— Что ты, с ума спятил? Чего ты с ним делаешь? Слазь! Он чужого все равно не послушает. На вот этого — он поспокойнее. А своего я сам заставлю бежать, как надо.

— Не послушает? А вот посмотрим!

И я быстро сделал три дела зараз: дернул Резвого за поводья, хлестнул по холке и поддал ему в живот всеми ногами.

Резвый опомнился от своей блажи и хватил вперед. Я видел только, как подбирает он прямыми ушами лежащую впереди дорогу и пускает ее промеж передних ног. От быстрого бега во мне поднялось много лишней радости. Я пробовал даже хохотать, но смеха не получалось. В глазах у меня пестрели камни и кусты, живот мой стыл от ветра. Я весь коченел в этой скачке и не успевал видеть, что, чего, как неслось сбоку меня.

Раз я оглянулся. Ленька кричал мне, да что кричал — не слышно было. Фронтовой тяжело нырял в дорожной пыли, которую оставил ему Резвый. Это он скакал изо всех сил. Зад-

ние ноги у него широко отлетали к бокам — вот-вот оторвутся. Да уж где ему за нами угнаться! Вся его скачка — верст пять в час. А Резвого было не остановить. Он опять, может, дурил, но нес он меня, как ветер пылинку.

Шибче, Резвый, еще надбавь, — я сижу крепко, как другой на стуле чай не пьет. Мы с тобой ездить умеем!

Но вдруг Резвый пошел тише. Я опомнился — смотрю: приехали. Вот тут, на поляне, у кривой сосны, мы всегда лошадей отпускаем.

Я положил Резвому поводья на шею. Под моей ладонью в упругой жиле так и толкалась кровь.

Не слезая, стал я ждать Леньку. Что-то он мне скажет? — думаю. Ведь сегодня он на Резвом почти ничего не проехал. Рассердится Ленька.

Долго пришлось ожидать, — уж Резвый траву есть начал.

Наконец Ленька показался в виду. Фронтовой под ним какой-то растрепанный, качается кораблем.

— Ты чего? — кричал Ленька, еще не доехав. — Я догонял, догонял, а ты во весь скак.. Обрадовался, небось, что лошадь попала! А я ведь не на всю дорогу дал...

Ленька слез с обмыленного Фронтового, который, верно, считал сегодняшний день за последний день своей жизни — никогда его прежде так не гоняли. Даже глаза у него какие-то потные стали, и передние ноги дрожат.

Скатился Ленька по волосатому боку, подбегает ко мне и выхватывает у меня из рук повод.

— Гонит тоже! Я и то никогда так не езжу. С чужой бы полегче!

— Да что, я гнал разве? Он сам несется.

— Видел я. Не надо было его хлестать. Мы — никто не хлещем. Этак и до смерти загнать недолго.

— Ну, до смерти...

— А что? Разве дядя Ефим не загнал свою лошадь? Ноги у нее с той поры как чурбаки осиновые стали. Недолго!

— То дядя Ефим. Он пьяный был, а я-то ведь не пьяный.

— Все равно. Коли дана тебе лошадь, так не надо гнать сломя голову. Тут дорога какая? Вся в каменьях, в коряжинах. Запнулась бы и убилась на смерть.

— Что ж, и я бы тогда убился, не она одна.

— Ну! — крикнул Ленька и махнул уздой.

Резвый отбежал в сторону, повалился на траву и стал перекатываться с боку на бок. А Фронтовой стоял, не двигаясь, широко расставя все четыре ноги. На которую захромает, — жди завтра.

Смотрим мы с Ленькой друг на дружку и молчим. У меня обида от горького моего житья вся в одно место собралась. Говорю круто Леньке:

— Ты уж больно задаваться стал. Все одно тянешь — своя да своя, а того не знаешь, чья она завтра будет. Поди, моя будет.

Ленька так ко мне и повернулся.

— Это еще откуда? Больно ловок на чужое с ложкой!

— Чужих не надо, а вот в колхоз пойдем, так всех коней разом на один двор. Советская-то власть...

— Что советская власть? — переспросил Ленька.

— Бедноте чтобы...

— А я кулак какой?

— Я и не говорю.

— Ну так вот.

Больше мы не говорили. А только прошибло, видно, Леньку сильнее моего. Шагаем мы с ним к дому, а он нет-нет да обернется и долго на Резвого смотрит.

Со мной как с чужим идет.

Как сказал я, так и объявилось. Колхоз в нашей деревне и на самом деле скоро вышел.

Было это на исходе лета, когда жниву в поле кончали.

Жнива — это такое дело: и тяжелое и легкое. Колос каждый мужику сердце приятно колет.

Пока жали да на полосы вместе ходили, вдруг столковались.

На первый взгляд оно как будто само собой вышло. А сколько до того было разговору всякого, и спору, и крику. Сколько уполномоченных разных зубы о наших мужиков поломали. Вот, кажется, всё уж и готово. Да только — ночью ли, днем ли — возьмет будто кто да какие-то клинья и подобьет. И опять рассыпался весь сговор.

Мужики у нас самые боязливые из всего сельсовета были, нового долго опасались. Только и умели на сходках кричать: «Какой там колхоз! Жизни наперелом! Не примаем!»

А тверже всех на своем старом стояли свояки Антиповы — двоюродная, троюродная и бабушкина родня. Как на крепких столбах, держалось на них Антипово мнение. Самому Антипу при них и говорить, бывало, нечего. Только стоит на сходках и поводит пепельной, как серый широкий лишай, бородой.

Так наши собрания ничем и кончались. А уж кругом, куда ни погляди, колхоз да колхоз — и в Ильёвке колхоз, и в Сергушине, и в Беляеве.

Жизнь-то сама будто незаметно оплескивает нашу деревню. Вот и размыло ее, да сразу во многих местах.

После жатвы всё сразу и решилось. Надолго запомнились мне наши последние единоличные дни.

Были мы в этом году с урожаем — да ни к чему оказался бы весь наш урожай, если бы не помогла нам ильёвская жатка.

Гнулись мы, гнулись перед своими полосками, — все от старух и до маленьких, а уж о полных работниках и говорить нечего. У всех одна погонялка над спиной — солнышко. Су-

шит оно, жжет колосья. Трещит солома под серпом, и — глядь переспелый колос через руку, как обжаренный, валится — и один, и другой, и третий. Не держат их пересохшие стебли, обсекаются у вершины. А в руках остаются одни обостренные соломинки, голые, потерянные.

Смотрим мы друг на друга:

— Да что же это? Куда этак весь наш урожай пойдет?

И пошел бы наш урожай сусликам и полевым мышам в норки, да встретились мы как-то в обед у межи с ильёвскими. Смотрим, поле у них как бритый лоб ровное, а вдалеке плывет машина-стригунка, захлестывает загон за загоном — последки забирает.

Перемахнули мы к ним через изгородь — дядя Егор, тятька мой, ну, и я за ними следом.

Добежали до машинки. Дядя Егор что-то говорит ильёвскому председателю, а тот отвечает:

— Ладно, ладно. Нам тут на часок еще осталось, а после берите. Все одно: мы — сегодня колхоз, а вы завтрашний.

Так оно и получилось, как сказал председатель. Погостила у нас ильёвская жатка и точно сосватала нас за колхоз.

Недели с того дня не прошло, глядим — стали наши мужики около моего тятьки и дяди Егора один по одному прибиваться. Сойдутся, поговорят и опять разойдутся.

И вот помню: сидит дядя Егор на бревнах около своей избы, держит на коленке лоскут бумаги и на нем выписывает:

— Трофим Бессонный со всем семейством.

— Да уж пиши всех, — говорит Трофим, — и кота нашего бусого можешь проставить.

Посмеиваются кругом.

— Дядя Егор, хватит ли у тебя бумаги-то? Деревня у нас — три посада — все переписать нужно. Пускай сельсовет в затылке почешет... А то приходили к нам не в пору. Мы — такой

народ: нас сбивай, не сбивай — мы сами знаем, когда наш черед подойдет.

И каждый другому глазом косит, пальцами щелкает, непонятно себя ведет. А на всех посмотришь — сразу ясно — договорились. Вот она, мудрость деревенская. Пойми, отчего все не в пору было, а теперь как водой сквозь плотину полилось.

Подошел и Антип. Свояки его кучкой сзади на пятки ему наступают. А он их рукой отводит.

— Чего торопишься, мол? Не пасху делим. От этого дела никто не уйдет. Ну-ка, Егор Иванович, черкни и меня карандашиком со всем миром вместе. Я от обчины не отказчик.

А дядя Егор повертел карандашиком на точке, прищурился и спросил мужиков одними глазами:

— Как?

И карандашик весь вдруг в толстой ладони упрятал, будто и не было его.

Обернулся и Антип на мужиков. Смотрит, тоже прищурившись.

Молчат мужики.

— Обчина-то обчина, — сказал кто-то из задних и зашел за спину соседа.

— Когда к миру, а когда и от мира, — сказал другой.

— Пришел поп кувшину кланяться, — отозвался третий.

А дядя Егор вывернул ладони и развел их в стороны.

— Слышь, Антип Захарыч, не примают. Кулакам, говорят, не полагается.

Ушел Антип, а мужики стали о лошадях говорить, как прикрепить их да кому на ком работать.

Ленькин отец возьми и скажи, что, мол, надо бы пока у старых хозяев лошадей оставить: каждый свою лучше убережет. Но дядя Егор ему поперечил, и все с ним стали согласны.

— Мы вот в колхоз записываемся, — сказал дядя Егор, — а выходит, что опять у нас безлошадники будут. Выходит так. А по-моему, надо коней на общий двор поставить и безлошадникам в первую голову их и поручить. Вот я как, мир, думаю.

Так и порешили. И прикрепили, между прочим, моего тятьку к Резвому на осенние работы.

— Ты, — говорят, — век своей лошади не имел, так бери же самого хорошего коня и наблюдай. Да смотри, не спорть!

Что тут было со мной! Сначала — радость. Хожу я по пятам за тятькой, как стинь, и только одно твержу:

— Тятя, ты уж блюди Резвого как надо. Ведь такая лошадь! Не спорть.

А потом, как подумаю про Леньку, — неспокойно мне станет. Все прикидываю, как бы ему получше объяснить, чтобы он не обижался. Не я сам ведь это дело решил, а весь мир — колхоз. А уж от меня Резвому настоящий довод будет: ночи на дворе спать стану, а его сберегу.

И так мне весело от этих мыслей, будто мне колхоз счастья из закрома насыпал полную шапку и пазуху. Хожу легко, как пухом набитый.

С Ленькой мы в этот вечер не столкнулись. А на другое утро, что я думал, то и вышло: посмотрел на меня Ленька вчуже.

— Что, — говорит, — теперь уж, верно, будешь гонять Резвого безо всякого стесненья! Дешево он тебе достался!

— Эх, чудак, — говорю я ему. — Не чужее и тебе стал Резвый, а ближе: первое, что свой — в колхозе каждая лошадь каждому своя, а второе — общий. Больше беречь Резвого теперь надо.

— Нет, ты уж меня не заговаривай. Я и сам понимаю всю

эту цифру. Был Резвый наш, а стал Шурки Грачева, вот и все тут.

Вижу я, что ничего с Ленькой не сделаешь. Он свое знает: от него Резвого отняли и на мои руки передали.

А у меня-то самого нет против Леньки сердца, хоть и вижу — не доверяет он мне.

Иду я за Резвым — с поля его брать — и вижу: околачивается Ленька где-то около того места, где я проехать должен. Будто так, будто невзначай сюда зашел, а сам только и смотрит, что я с Резвым делать буду, как я его погоню по своей воле.

Боронить еду — Ленька за углом риги прячется, все выглядывает, не буду ли я колотить чужую лошадь. А мне она дороже своей, если б знал... И разговориться с ним больше не могу — избегает. Неспокойно мне из-за нашего разлада. Вижу, что и дальше у нас лучше не становится. Двумя краями идем, а переходинки между нами не лежит нигде.

Раз я видел, как Ленька на двор прошмыгнул. Я притаился в углу, а он из кармана что-то высыпает. Это он овса Резвому принес. И целует его в шею — будто они здесь оба обиженные. Вот ведь дела бывают.

Как-то я все-таки поймал Леньку насильно, прижал его в угол и говорю ему открыто:

— Что ты, Ленька? Ты считаешь, как будто твоя лошадь здесь в обиде, ты тайно доглядываешь за ней? Уж если ты что заметил, иди в правление да прямо и скажи. А зачем тайно ухаживать за конем? Я все-таки с тятькой моим отвечаю колхозу, чтобы Резвый был в полном порядке.

А Ленька от меня голову воротит.

— Что? — говорит. — Ну, я хожу, мне не заказано. На чужих-то руках от него что останется? Я еще могу касаться до своего коня.

— Ты, видно, Ленька, зажиточником стал, пока до колхоза жил. У тебя речи не свои, не пионерские. У кого только набрался?

Вырвал Ленька плечо из-под моей руки — и за ворота.

— Ладно, — кричит, — вот я не буду за конем смотреть, погляжу, какой довод у тебя ему будет!

— Не пугай! — кричу я ему вдогонку. — И без тебя сбережем колхозу лошадь.

Действительно, Ленька до скотного двора больше не касался, а сделал вдруг удочку и занялся ловлей карасей, чего раньше нисколько не уважал.

А я ухаживал за Резвым еще с большей охотой, чем раньше. Работали на Резвом много, а все-таки от моих забот шерсть на нем стала черно-светлая, блестящая, бока гладкие, всегда чистые. И меня он стал знать как своего.

Однажды я проходил по «лыве», неподалеку от озера. У нас тут есть такое топкое место. Прежде, говорят деды, и здесь было озеро, а потом оно загустело, заросло и стало луговиной. Только местами еще остались меж травы «окна», ямы такие, в которых жидкая грязь без дна.

Шел я и вдруг подумал, глядя на шаткую изгородь: «Вот ведь какое худое место, а изгородь почти вся сгнила. Надо правлению сказать».

Подумалось это мне крепко, — как защербиной в мозг зашло.

Как бы, думаю, Резвый сюда не забрался. Вон они оба за кустами ходят, траву щиплют — Резвый и Антипова кобыла Машка, которая теперь в колхоз без хозяина вошла. Долго ли изгородь свалить?

А людей по близости нет. Один только Ленька в этих местах карасиков дергает. Здесь у него клёв — рыба хорошо пристает.

Пришел я в этот день домой, и чем голову забил — не помню, а только ничего я не сказал правлению.

Из-за этой оплошности я чуть было свою марку в колхозе не подмочил.

Было это дело так. Дня через три после того, как я на лыве побывал, приехал я домой с бороньбы — мы в это время досевали озимое.

Резвый был на этот день уже ненадобен. Я вывел его из деревни и отпустил в поле. А сам вернулся и думаю: как бы мне к зиме в яслях у него лучшее устройство сделать?

Вдруг проходит по двору мой тятька и говорит:

— Развого-то мы зря отпустили, он опять надобен. В лес надо ехать, пней корчеванных для риги привезти. Сбегай-ка за ним, Шурка!

Я пошел за Резвым.

Ищу-ищу, а Резвого нет.

Обошел все лужки, чащами прошел, к речке спустился,— ни в какой лощине его не видать. Тут я начал бегать по полю и звать его — он всегда скоро на мой голос откликался. И теперь мне тоже послышалось, будто он ржет откуда-то с берега. Я побежал в ту сторону, и вдруг меня как обухом ударило: а ведь изгородь-то совсем у того места плохая!

От пяток до головы через меня точно веревку продернули. Кинулся я бежать, аж дух захватывает. Через пни перелетаю, сквозь кусты проскальзываю, деру себе руки и лицо, — как глаза остались целы?

А в голове одна мысль как пестом толчет: вот забыл! Мало ли беды не бывает? Долго ли?

Выбираюсь из кустов. Тут поляна к озеру открывается. Смотрю — навстречу мне Ленька бежит, кричит что-то. Удочкой на берег тычет.

А Резвый-то... Резвый в той лыве сидит.

У меня из ног как кто хрящи вынул — бежать больше не могу. Да только на минуту, а потом опомнился и, как ошалелый,

несусь прямо к нему на болото. Едва между плотных кочек серые, грязные окошки, эти ямы бездонные, замечаю.

Ленька сзади кричит:

— Куда ты? Утопнешь! утопнешь!

А я не слышу — к самой лыве бегу.

Только вижу — уж мне не подойти. Тут видно, что каша, а он сидит в ней, и часть брюха уже не видать, и дышит тяжело.

Меня увидал — биться начал. Ноги еще передние может выкинуть, да опоры им нету, опять в грязь уходят.

У меня в голове котел кипит, и все к тому: как, как Резвого спасти?

— Ленька! — кричу. — Беги домой скорее! Да постой, куда ты? Так тебя к вечеру жди. Вон Машка у кустов ходит, сядь на нее да гони что есть мочи! Тятьку зови, дядю Егора зови!

А сам крутнулся раза два кругом — чего бы сделать, чем бы помочь? Да нигде ничего не вижу, а своих рук не подашь.

Только бы до мужиков нам продержаться.

Бегу к изгороди, хватаю там доски, какие были. Подбрасываю к голове его и кричу:

— Резвый, ну попробуй, Резвушко!

Понукаю, прошу. Понял он меня и давай вырываться. Заходило проклятое место, еще больше жиднеет под ним грязища.

Только выкинул он одну ногу — и прямо на доски. Две доски подломились, не выдержали, одна цела осталась: подошла да под грязью где-то и укрепилась.

Я еще бегу, прутьев разных тащу, кидаю, а вижу — что-то плохо ему, Резвому. Охает тяжело, как большую боль скрывает. Соображаю я, что одну он только ногу выкинул, на одной только держится. Вывихнет — пропадет.

Кричу я, понукаю, уж и ласково, и сердито, а он глянет на меня, — ну как скажет: что же я могу поделать? Видишь, не могу...

Потом он вдруг собрался весь, жилы у него на голове и шее веревками натянулись. Стал вверх рваться, не хочет тонуть. Забросил на доску и вторую ногу.

Я уж радоваться стал было, да смотрю — у него зад быстрее прежнего вниз уходить начал, теперь он вроде как стояком стоит. И грязь-то разбил вокруг себя до воды. Вот уж она ему по репицу хвоста наплывает, серая, противная, холодная, на него — такого живого, красивого.

Погляжу я туда, в сторону деревни, и кажется мне, будто там народ копошится. Бегут мужики на выручку. А только мерещится все это, — въявь никого нет.

Тяжело Резвому стало — уж и глаза как-то стеклянеют, к смерти готовятся. И весь он точно застыл. Может, временами он еще и бьется задними ногами там внизу, да наружу-то ничего не выдается. Только немного покачается под ним грязная зыбь, и втягивает она его как в холодный, беззубый рот.

Вижу теперь ясно, как из деревни народ выбегает.

Впереди кто-то на двух лошадях скачет, да еще расстояние-то немалое. Подоспеют ли ко времени?

Я забудусь и руками машу. Кричу, хоть и не услышат:

— Скорее, да скорей вы! Ой, гибнет лошадь-то!

А ему грязь стала уж подливаться как раз под то место, на котором сидеть было так приятно, под самое седлышко. Круглый он в этом месте, а шерсть — бархат.

Последние силы у коня уходят, — доски-то мои мало подмоги ему дают. Кажется, не подоспеют наши...

А они уже совсем близко. Двое на лошадях порядочно остальных обогнали: мой тятька да Ленькин отец.

— Ой, гоните скорее!

Подскакали они, скатились с лошадей и бегут к нам во всю прыть. В руках у них веревки, а на веревках что-то мягкое, — мешки, кажется, наверчены. Думаю, зачем это мешки? А они начинают подсовывать веревку Резвому под брюхо. В грязи

не видать, что делают. Багром подвели веревку с одной стороны, а вторым с другой подцепили.

А тут еще народ к нам подоспел. Первым — дядя Егор, потом не помню кто, потом Васька... Чуть ли не до самой деревни цепочка людей протянулась. И далеко позади всех кто-то с двумя ведрами качается.

А мы уже вторую веревку под Резвого подводим. Под брюхо к задним ногам.

Весь народ теперь Резвого держит. Не упускаем, тянем.

Я ухватился впереди тятьки и держу вместе со всеми. Уперся ногами так, что кочечка подо мной немного воды выжала.

Еще бы потянуть — и выплыл бы он. Да всё мне кажется,— не так они тянут. Никто из мужиков, наверное, не страдал за Резвого так, как я. Поэтому и силы такой они в руки нагнать не могли, как у меня.

Ни мы Резвого зыби не отдаем, ни нам трясина не отдает его обратно.

Ух, напружился я весь — да так, что Резвый показался мне зеленым, синим, а потом у меня в глазах красные круги поплыли.

Тут дядя Егор указал тятьке на меня, и оба улыбнулись.

— Давай подможем Шурке, — сказал дядя Егор. — А ну-ка, братцы, все враз!

Мужики натянули обе веревки.

Заколыхалась трясина и стала мягко отпускать нам Резвого, как будто до этого и не спорила о нем. И начал Резвый как бы рождаться из грязи со всем туловищем и хвостом. Вот уже ноги начинаются. Такую красоту окошко болотное чуть не съело.

Тут я заметил, что кто-то близко около меня толкается, — как притронется ко мне, плечо обжигает. Это Ленька. Разгорячился он, как и я. Не видели мы друг друга до этого.

Вытянули мы Резвого. Он лежал усталый, потом вставать

начал. Я кинулся было к нему, но меня тятька за руку отвел. А сам взял Резвого за чёлку и стал потихоньку выводить из болота.

На одну ногу прихрамывает Резвый.

«Неужели охромеет навсегда?» думал я, щупая глазами его ногу. Мужики говорили разное: кто говорил, что это может остаться у него навсегда, а другие отвечали, что — кто знает? может, это не слом, а только от натуги, — пройти может.

Тут и ведра оказались. Их глухой дед Микита притащил, тот самый, что последним из деревни шел. Стали мужики из ведер Резвого озерной водой окатывать. Я бегал тут же, около, но лишь без толку перемок.

— Ну, помаленьку и домой пошли, — сказал дядя Егор.

Двое мужиков остались городить новую изгородь, а мы вместе с Резвым тронулись в деревню.

На другой день привезли из города фельдшера, что скотину лечит.

— Поправится, — сказал, он — ваш конек. В ноге у него поврежденьев нет, а только небольшое растяжение в мускуле (он это по-своему как-то назвал), да от холодной воды простуда и переутомление. Припарки будете горячие ставить с трухой, а это вот для растиранья, — в аптеке получите. Назначьте только человека, который бы при лошади неотлучно находился. Ей теперь побольше прежнего забота и уход надобны.

Стали мужики перебирать друг по дружке — кого с Резвым оставить. Только все у нас мужики деловые оказались. Как дойдет до кого очередь, каждый и говорит: «Нет, уж я на обмолотку лучше пойду. Что я стану у лошади при таком маленьком деле сидеть. Вот разве дядя Егор».

А дядя Егор говорит:

— Нет, уж и мне не подстать около одной лошади околачиваться. Этак на безделье у меня и табаку нехватит. А вот я

заместо себя вам целых двух человек предоставлю — они оба и спят и ходят, а лошадей видят.

Это он про меня с Ленькой сказал.

Фельдшер посмотрел на наши животы и усмехнулся. Не очень-то мы ему, наверно, показались.

Мы уж подумали, что он нас зафальшует, а он — нет, обернулся и говорит:

— Вылечите лошадку — пошлю вас учиться на ветеринаров.

Так на нас это дело и положили.

Глядим мы с Ленькой за Резвым, стараемся оба, чтобы и припарка во-время была и чтобы повязка не свалилась. Корма ему полегче подбираем.

Вместе ходим за конем, а разговор между нами все как-то не налаживается.

Я мучаюсь, что по моей вине Резвый охромел, и Ленька тоже ходит какой-то серый, затуманенный. И нет-нет, да и уважит меня Ленька чем-нибудь: то травы без очереди принесет, то за водой горячей на припарки сбегает — меня от многой работы освобождает. Так между нами пока всё и тянется.

А Резвый все хромает.

Качают мужики головами, поговаривают, что, дескать, фельдшер, наверно, не всё доглядел и не позвать ли уж коновала.

Мы с Ленькой и вовсе приуныли. Не выходить нам, верно, Резвого. Вот тебе — и твой, и мой, и колхозный, а получилось — ничей.

Пришел к нам как-то глухой дед Микита.

— Что, — говорит, — лекаря? Шкура-то будет ладная? Сколько хомутов наделаем?

Мы так на него и закричали оба:

— Тебя бы на хомуты, старый глухарь! Бери костыль да иди от нас подальше!

А у самих у нас храбрости совсем нет. Еле носы держим.

Не знаю, о чем думал Ленька, а мне и коня жалко, и себя еще жалчей. Если не поправится Резвый, так мне тогда и совсем в колхозной жизни дороги не будет. Доверили коня — не углядел.

И вот, помню один день. Иду я с улицы, траву Резвому несу. Со свету у меня глаза худо в темноте видят. Слышу вдруг — бегает кто-то часто по двору, ногами в соломе шумит, в ворота громко щелкает.

Выронил я охапку травы на землю, гляжу — да это Резвый! Припарки наши за ним по земле волочатся.

Я напугался, бегу, вновь упутываю. Да где! И не дается теперь. И вижу, что он как бы не хромой вовсе. Здоров и на волю хочет. В щели ворот улицу рассматривает, ноздрями свежий воздух тянет, свободы просит.

Запрыгало у меня сердце. А тут и Ленька подоспел. Радости у нас было! Не знаем, кому бы первому и сказать, — так ее у нас много, этой радости — отвалить хочется! Выбегаем на улицу — глухой дед Микита идет. Мы к нему.

— Дедушка Микитушка! Резвый-то...

— А? Чего? Кто зарезал?

— Да нет, Резвый-то наш...

Дергаем мы деда Микиту за рукава, тормошим — ничего дед не слышит.

Бросили мы его. Видим, человек поцелее идет — дядя Егор. Мы схватили его за руки и к Резвому.

— Ну, будете ветеринарами! — сказал дядя Егор.

Целый день после того сидели мы с Ленькой на дворе. Глядели, как Резвый траву ест и то правой, то левой ногой землю скоблит и кидает.

Вдруг Ленька положил мне руку на плечо и говорит:

— А знаешь, Шурка, большая провинность моя в этом деле была.

– Какая?

— А помнишь, я удить ходил? Много я у того самого места, у лывы, сиживал. И ведь замечал я, что изгородь там небольно крепкая стала. Машка об нее раз потерлась, так все колья как живые заходили. Что бы мне было правлению об этом сказать? Я уж и собирался, да раздумал. Вспомнил, как ты мне крикнул, что и без меня колхозу лошадь убережешь. Ну что ж, думаю, у Резвого хозяин есть, пусть он и доглядывает. Только я не хотел, конечно, чтобы Резвый в лыве утоп. Этого у меня и в мыслях не было.

Послушал я Леньку, а потом рассказал ему и про свой промах. Ведь и я тогда правлению насчет изгороди рассказать позабыл.

— Прохлопал, — говорю, — Резвого!

А Ленька (ох, и что он за парень!) моей виновности вовсе как бы и не признал.

— Не говори уж, — сказал он мне, — ты линию верную гнул, а я не на ту маленько вышел. Карасей из воды тягал, а Резвого чуть не утопил.

После уж сдружились мы с Ленькой еще больше, — как два клеща неразлучные стали.

И Резвого пасем вместе и карасей удим.

Вместе и в красную кавалерию собираемся, когда наш год выйдет.

Мы с ним одногодки.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ

ПОЛТОРА РАЗГОВОРА

РАССКАЗ ДИСПЕТЧЕРА

АВТОЛИТОГРАФИЯ Е. САФОНОВОЙ

1

Диспетчер... Вы, пожалуй, и не слыхали, что такое диспетчер на железной дороге. Кондукторов, конечно, видали, стрелочников, машинистов, кочегаров тоже видали. Знаете, что есть такой начальник станции, — в красной фуражке по перрону ходит. Еще билетные кассиры в окошечках. Проводники вагонов, смазчики, сцепщики... Ну, швейцары у вокзальных дверей. А я вот диспетчер. Меня вы, наверное, ни разу в жизни не видали. Даже в комнату ко мне воспрещается входить — на дверях так и написано: «Строжайше воспрещается».

Диспетчерская комната у нас на вокзале на самом верхнем этаже. Вы, пассажиры, только первый этаж и знаете, а у нас над ним еще три. В первом шумят, шаркают, шныряют взад и вперед. А на верхнем этаже тихо. Там люди пишут, считают, чертят.

Вот и я в своей диспетчерской комнате сижу за столом, считаю, черчу. Войдете ко мне в комнату (конечно, если у вас особое разрешение есть) — и сразу перед вами вся железная дорога откроется на восемьдесят километров. Не то, что вы в окошко ее увидите, нет, — все восемьдесят километров у меня на столе лежат.

Я гляжу на стол и вижу, какие поезда по главной линии

идут, какие на запасных путях стоят, какие на Сортировочную согнаны или на Фарфоровском посту моего распоряжения ждут.

От Ленинграда до самой Любани тянется мой участок. Это считается у нас первый круг. Я диспетчер первого круга.

А за стеной у меня диспетчер второго круга (Любань — Окуловка), рядом с ним, тоже через стенку, диспетчер третьего круга, — это уж полдороги до Москвы, — и так далее.

И каждый диспетчер из своей комнаты все свои поезда видит. Без всякого телескопа видит. Чуть сбился поезд с ходу, расстроил движение на дороге, — диспетчер должен подхлестнуть машиниста или же выдернуть поезд с главной линии и кинуть на запасный путь.

Тут простую вещь надо понять. Все поезда выходят из Ленинграда точно, по строгому расписанию, каждый в свое время. Пошел. Ты за ним следишь. Правильно идет поезд, без заминки, без перебоя. Диспетчеру и делать нечего. И вдруг — что такое? Сбился поезд на две — на три минуты, потерял ход. То ли давление пара не доглядел по манометру машинист, то ли дышло заело, а только ломает расписание поезд — и все тут.

Вот, к примеру, хоть сто сорок третий. Ему полагается по расписанию прибыть в Рябово ровно в двадцать два часа семнадцать минут. А прибыл он, скажем, в двадцать два часа двадцать минут. Значит, всего только на три минуты опаздывает. Кажется, и говорить-то не о чем. Три минуты! Ни один пассажир на это, верно, и внимания не обратит.

А железная дорога уже в лихорадке. Вся в лихорадке — от Рябова до самого Ленинграда. Телеграф стучит, дежурные мечутся, в телефон орут — один другого и под суд отдает, и к лешему посылает. Ведь поездов-то на линии полным-полно. Все перегоны забиты поездами. А Ленинград всё формирует новые поезда, всё отправляет. Десять минут — и поезд, де-

сять минут — и поезд. Тут тебе и рыбинский прет, и иркутский, и севастопольский — в Крым, и кисловодский — на Кавказ. Если сто сорок третий застрянет, он всем этим поездам дорогу запрет, — ведь до Рябова они все по одному пути идут. А прежде всех дорогу запрет скорому московскому, двадцать седьмому номеру. Этот следом за сто сорок третьим всегда идет.

Так в затылок друг другу и движутся у нас поезда на линии... И вдруг — сто-о-й! Сто сорок третий в Рябово не пришел. На три минуты опоздание.

Если бы перед скорым двадцать седьмым предыдущая станция не захлопнула семафора во-время, — врезался бы он, того и гляди, в хвост опоздавшему.

И пошли хлопать семафоры перед всеми поездами по всем станциям до самого Ленинграда. И в Ушаках, и в Обухове, и в Саблине, и в Поповке, — по всем станциям запирают поезда.

Все поезда, значит, выбиты из расписания.

Вот какую кашу могут заварить три минуты на железной дороге!

И заваривалась бы каша на линии, не один раз в сутки заваривалась бы, если бы не диспетчер. Ведь поезд — не заяц, не спрыгнет с рельс и не оббежит по тропочке другой поезд, который перед ним на линии торчит.

На то и сидит диспетчер за своим столом, чтобы прокладывать каждому поезду путь.

Лист разграфленной бумаги да карандаш — вот и все, что нужно диспетчеру. А еще ему нужно, чтобы кругом тишина была. Дверь плотно закрыта, и форточка тоже — чтобы ни свистка, ни гудка, ни крика.

Я так даже и штору у себя на окне спускаю, — чтобы перед глазами поезда не мелькали. Сяду за свой стол, разложу лист бумаги в клеточку, по-нашему «график», отточу карандаш поострее и начинаю управлять поездами.

2

Я не один в комнате нахожусь. Нас двое работает. Я, диспетчер, и мой помощник — громкоговоритель. Я на стуле сижу, а громкоговоритель на краешке стола передо мной на одной ножке стоит. Стоит и докладывает мне:

— Сто сорок третий в Рябове. Три минуты опоздания. Двадцать седьмой идет в свое время.

Доложит мне помощник — и мое распоряжение по станциям передаст.

Слева от меня, вот так вот — шкатулка стоит, название ей селектор. Шкатулка с ключами. Девятнадцать станций у меня на участке — и девятнадцать ключей на шкатулке. Повернешь ключ — сразу станция тебе и откликнется. Повернешь рябовский ключ — громкоговоритель сразу и рявкнет:

— У селектора Рябово!

Будто не на линии Рябово, не за пятьдесят километров, а тут же в шкатулке.

— Рябово? — спрашиваю. — Так уберите сто сорок третий на запасный. Пропустить двадцать седьмой.

— Понято, — отвечает громкоговоритель.

«Да» и «нет» у нас не говорят. У нас говорят: «понято». Отчетливее это слово у громкоговорителя получается.

Выключил Рябово и другой ключ повертываю.

— Любань? Семьдесят первому воды набрать. На очереди к вам шестьсот сорок пятый.

— Понято, воды набрать...

— Навалочная, почему цистерны из-под нефти держите? Отправить немедленно.

— Понято! Понято! — выкрикивает громкоговоритель. А сам подпрыгивает на своей ножке, словно от усердия.

— Диспетчер! У селектора Ленинград-пассажирский. Двадцать девятый готов. Паровоз Элька сто шестьдесят три,

машинист Харитонов, вагонов пятнадцать, осей шестьдесят, вес поезда семьсот тридцать девять тонн, тормоза проверены, главный кондуктор Шишов... — одним духом выпаливает громкоговоритель. И начинает шипеть как кипяток: — Отправлять двадцать девятый? Отправлять?

— Отправляйте.

— Диспетчер! Диспетчер! — разными голосами кричит громкоговоритель. — Сто сорок пятый из Колпина вышел... Диспетчер, я Рябово... Диспетчер, я Обухово...

Если послушать у диспетчерских дверей, никто и не поверит, что я один в комнате нахожусь. Кажется, будто экстренное заседание у меня идет. Будто человек двадцать наперебой разговаривают, кричат, спорят.

Был раз такой случай. Прислали ко мне с письмом проводника. Знаете, вагонные проводники? Ну, так вот, постучался он у дверей. А я не слышу. Стучит — а я никакого внимания. Тут он распахнул дверь без спросу — да как шарахнется... И ходу!

Парень-то, видно, новичок на железной дороге был. Пока он у меня за дверью стоял, он двадцать разных голосов в комнате слышал. А открыл дверь — видит: один человек сидит, пропали все остальные, будто сквозь пол провалились.

Как же тут не испугаться?

3

По правилу нельзя входить к диспетчеру. Да и незачем. Все равно разговаривать на дежурстве я не могу. Громкоговоритель без перерыва барабанит в уши, — слушаешь, и слово проронить боишься. Ведь не пустые это слова — это всё поезда идут. В ухо кричит тебе громкоговоритель, а ты ему в микрофон отвечаешь. Говоришь, говоришь, приказываешь, подгоняешь, покрикиваешь. И весь ты как в тисках. Левая рука на

шкатулке. В правой карандаш. Карандашом по графику водишь. Левая нога твоя на педали, — все время педаль держать надо, пока разговариваешь. Только правая нога у тебя и свободна от дежурства.

А глаза — глаза больше всех работают. То на график взглянешь, то на часы, то на график, то на часы. Работа вся у меня по минутам рассчитана. Восемь часов дежуришь в смену, это — четыреста восемьдесят минут. Вот и все, что тебе отпущено. И ни одной минутой больше. Неоткуда взять лишнюю минутку. Больше шестидесяти из часа не выжмешь.

А за эти за четыреста восемьдесят минут надо тебе пятьдесят девять поездов прогнать по участку. Вот и шаришь глазами по циферблату, умножаешь минуты на километры, делишь километры на минуты, вычитаешь минуты из минут. Как бы, думаешь, не проронить какую, как бы у тебя сквозь пальцы не просыпалась минутка. Ну, и поездам тоже выдаешь минуты по счету. А если уж подкинешь поезду лишнюю минуту, — так машинист тебя до конца участка, до самой Любани благодарить будет.

Но не только минуты, а и слова у нас, у диспетчеров, считанные. Болтливый диспетчер на дежурстве — пропащий человек. Чтобы пропустить поезд, два-три слова довольно сказать станции: «отправить сто сорок третий», или «открыть двадцать седьмому семафор». А болтливый целую речь перед громкоговорителем произнесет.

— Колпино, — скажет, — послушайте-ка, Колпино, там у вас сто сорок третий под семафором стоит. Отправьте-ка его поскорее, пожалуйста. Что? Здравствуйте, Иван Иваныч.... А вы как? Так отправьте, пожалуйста, сто сорок третий.

С одним Иван Иванычем проканителится, а десять поездов из расписания выведет. Смотришь, и запорол движение. Сам диспетчер запорол.

Поэтому у нас устав: полтора разговора полагается на

поезд. Это семь слов. Сказал полтора разговора — и заткни рот. Поезд пройдет как надо. А лишние слова тебе на язык набегают — глотай их. Для лишних слов на дороге нет лишних минут.

4

Видали вы когда-нибудь диспетчерский график?

Думаю, что не видали. Это сетка, вся исчерченная слева направо и справа налево косыми красными и синими линиями. Красные линии — пассажирские поезда, синие — товарные.

Все эти линии диспетчер за свое дежурство сам прокладывает. А сетка ему дается готовая, печатная. На самом верху листа жирная черта напечатана, и надпись против черты: «Ленинград». Внизу — другая черта, это «Станция Любань». А между ними — еще семнадцать делений. Это станции — Сортировочная, Обухово, Славянка, Колпино, Ушаки, и так далее и так далее. Девятнадцать станций у меня на участке, и девятнадцать линеек на листе. Все эти линейки горизонтальные. А пересекают их вертикальные линейки: на каждые пять минут — одна линейка. Четыреста восемьдесят минут в моем дежурстве — и девяносто шесть вертикальных линеек.

Вот и работаешь. Вышел поезд из Ленинграда во столько-то часов, столько-то минут. Ставишь карандашом точку на жирной черте «Ленинград», там, где ее пересекает черта этого самого часа, этой самой минуты. И ждешь. Через двенадцать минут, скажем, поезд в Славянке должен быть. Смотришь на часы и держишь карандаш наготове.

— Славянка в свое время! — кричит громкоговоритель.

— Понято, — отвечаешь, и гонишь карандаш из Ленинграда на Славянку. И опять ждешь. Еще через семь минут поезду полагается блок-пост проскочить на двадцать первом километре. Проскочил. Бежит карандаш со Славянки на блок-пост. Дальше Колпино. Карандаш тоже едет в Колпино. По-

повка — отправляюсь в Поповку. Саблино — тяну до Саблина. Так по пятам за поездом и веду карандаш. Если поезд хорошо идет, то и линия под карандашом получается ровная. А если начинает сбиваться с ходу — карандашная линия тоже ломается. Вот я и без телескопа вижу, как поезд идет. Хоть бы он за триста километров ушел, а от диспетчера не спрячется. Громкоговоритель с каждой станции о поезде диспетчеру докладывает.

Но легкое было бы у меня дело, если бы я только за одним поездом следил. Поездов у меня десятки, каждому на графике надо путь проложить. Один до Колпина довел, другой уже до самого Рябова, а третий на жирной черте еще только точкой стоит.

Друг за другом выходят из Ленинграда поезда. Десять минут — и поезд, десять минут — и поезд, десять минут — и поезд... Не отдельные ниточки уже у меня на сетке, а целые кисти. Правильно идут поезда — кисти точно гребнем расчесаны, нитка к нитке. А то вдруг будто ветер выхватит какую-нибудь нитку, да и сдунет ее в сторону. Значит, сбился поезд с ходу, поперек дороги другим становится. Я сразу — за ключ. Кричу в громкоговоритель: «Убрать такой-то тридцать пятый номер на запасный. Выпустить вперед пятьдесят седьмой».

Опять выровнялись поезда, опять нитка к нитке укладывается. Только вот с тридцать пятым как же мне быть — с тем, который я на запасный убрал? Ведь у меня точное задание: прогнать за дежурство пятьдесят девять поездов по участку. А я один поезд выкинул... Вот тут-то и задача! Выкинуть поезд с главной линии — не штука. Самое простое дело — выкинуть. А как обратно его между поездами втиснуть? Как нитки на графике раздвинуть, чтобы этому застрявшему поезду путь проложить?

Иной раз бывает: погорячишься, кинешь поезд на запасный — а тут валом накатятся поезда и запрут его на полдо-

роге. Так без этого поезда и сдаешь дежурство. Принял пятьдесят девять, сдал пятьдесять восемь. Это со мной часто случалось, когда я новичком был.

А теперь не так. Сидишь на дежурстве, а в голове у тебя математика. Соображаешь: есть ли расчет выкидывать поезд на запасный? Не запрут ли его на запасном другие поезда? Будет ли щелка опять ему на главную линию выскочить? И велик ли от этого барыш? В минутах высчитываешь, много ли другие поезда выгадают, если я этот поезд с линии сниму. И на рубли прикинешь — сколько же это он топлива сожжет понапрасну, если я его без хода час-полтора продержу?

Нет уж, на запасный путь ставить — это самый крайний случай. Опытный диспетчер во-время машиниста подхлестнет: «Уходи, такой-этакий, тридцать пятый, не путайся под ногами! Уходи, чтобы и духу твоего не было!» Взглянешь минут через десять на график — ага, понял машинист намек. Загнулась его кривая сразу вниз. Загнулась и уже выровнялась с остальными поездами. Нитка к нитке ложатся опять пути поездов.

А бывает, что не подхлестнуть машиниста надо, а придержать. Горячие машинисты больше всего марают график диспетчеру. Выйдет из Ленинграда — и ну гнать, ну гнать! Думаешь, он еще на перегоне где-нибудь, а он уже на станцию заскочил. Ловишь на станции — куда там! — он уже дальше на перегон удрал. Ну, прикажешь следующей станции на запасный путь ему стрелки сделать. Он и влетит туда как в ловушку. Выдержишь, какое полагается, время, и пускаешь его дальше по расписанию. На графике линия у него, понятно, порченая получается, — коверкает тебе линию такой поезд.

Многое тут от машиниста зависит. Хороший машинист ногами чувствует, как идет его поезд. У него уж не собьется со скорости паровоз. А если начнет сдавать машина хоть на полминуты, машинисту сразу ноги скажут. Рванет он ручку ре-

гулятора — и уже выправил ход. Да мало, что выправил ход, а еще поддал пару в цилиндры, чтобы минута времени в запасе оставалась. Настоящий машинист всегда минуту про запас держит. Ему и на часы глядеть не нужно. Если не чувствуешь своей машины — и часы тебя не выручат.

С хорошим машинистом приятно на паровозе проехаться. Особенно, если скорый паровоз — буква «С» или Элька, буква «Л».

Видали вы Эльку? Да ее и по голосу сразу узнаешь. Не гудок — оркестр. Восемьдесят километров в час, сто километров дает паровоз. В топке рев, голову высунешь в окно — не то, что фуражку, — волосы, кажется, с головы сорвет. А ход ровный, плавный, не рвет машина, не кидает. Машинист нацедит себе стаканчик чаю, примостит его на котел, к арматурному патрубку, — даже не расплещется чаек. Вот это ход!

Когда Эльку на график примешь, будто кто ножом полоснул по сетке. Глядеть любо!

Элька не всякие поезда водит. Под какой-нибудь товаропассажирский или хозяйственный ее не поставят. А случалось вам на «Красной Стреле» ездить? Вот это Элька.

Со скорыми поездами дело иметь диспетчеру — одно удовольствие. Эти не подведут. Даже если и задержится где-нибудь в пути скорый, — за один перегон свое время наверстает. И машины у скорых первоклассные, и машинисты первого класса. А главное — чистая с ними работа. Каждая станция семафор перед ними наготове держит. Полтора часа — и и скорый в Любани, к соседнему диспетчеру ушел.

А с другими поездами хлопот диспетчеру гораздо больше. Особенно с товарными.

5

Товарные поезда мы ночью вываливаем на линию, — к ночи на линии попросторнее. И вываливаем мы их целыми

пачками. Шестисотые номера — одна пачка, семисотые — другая. Девятисотые номера — третья пачка. А в каждом поезде до сотни вагонов. Чуть ли не с полкилометра каждый поезд.

Не всякий паровоз такую штуку вытянет. А вот Щука — буква «Щ» — вытягивает. Щука — это наш тяжеловоз. Кричит Щука басом. Такой голос ей полагается по форме. А с виду это не очень крупный паровоз. И ходит не шибко — до Эльки ему далеко. Колеса у Щуки как зубы — мелкие, цепкие. Элька — та размашистым колесом берет. Повернет колесо — и сразу ушла вперед на полдесятка метров. А Щука не торопится, тяжело налегает колесом на рельсы и зато вон какую махину вытягивает.

Ползут товарные, кряхтят, протащатся пять-шесть перегонов и станут. Воды им надо подплеснуть в тендер, пар поднять до полного давления. И пока стоит товарный на станции, у диспетчера на графике целая ступенька вырастает. Чем больше минут простой, тем шире ступенька. Посмотришь после дежурства на график, а товарные поезда двадцать лестниц тебе начертили.

Хуже нет, если заминка на перегоне случится, когда товарные один другому в затылок идут. Начнут тормозить, останавливаться где попало — пропадешь тут с ними. Станет какой-нибудь семисотый номер — тысяча тонн на колесах, — его потом с места не сдвинуть. Особенно зимою, в мороз. Чуть снежок припорошит ему колеса, — смотришь, он уже к рельсам примерз. Поди, отдирай его. Давай ему рабочих с лопатами, гони с соседней станции толкача.

Ничего не скажешь, хлопотливое дело товарные поезда по графику водить. Хлопотливое, а нужное. Без товарного поезда ни хлеба в город не доставить, ни кирпича на новостройки, ни трактора в колхоз. Да и пассажирские поезда без товарных ходить бы не могли. Ведь уголь-то для буквы «С» и нефть для Эльки — кто подвозит? Товарные.

Товарные поезда у настоящего диспетчера первое место занимать должны.

6

Выходят все эти шестисотые, семисотые, девятисотые номера на линию ночью с Сортировочной станции.

Когда едете поездом из Ленинграда, вы можете сами увидеть Сортировочную. Она тянется пять-шесть километров. Такая станция есть не только в Ленинграде, но и на каждом большом железнодорожном узле.

Пассажирские поезда на Сортировочной не останавливаются. Ни вокзала там не увидите, ни перронов, — одно чистое поле. И в поле — рельсы. Словно плугом обходили поле да в каждую борозду рельсы клали — столько их там. И на всех рельсах стоят вагоны: сверху на крыши посмотреть — целый город.

Сортировочную станцию проще всего сравнить с мешком. С утра до вечера, с вечера до утра набивают ее груженными вагонами. От каждого завода на Сортировочную проложены пути. Нагрузят на заводском дворе вагоны, навесят, как полагается, пломбы — и пошел вагон на Сортировочную.

А водят вагоны с заводских дворов на Сортировочную и обратно особые паровозы — Овечки. Называются Овечками они потому, что у них буквы «Ов» на тендере. Ну, уж крикливее паровоза нету! Прямо скажу, пронзительный голос у Овечки! Соберутся они на Сортировочной и такой концерт зададут, что ушам больно. Хорошо, что станция за городом.

А был один раз случай. Переменили деповские рабочие на Овечке гудок, — то ли они для смеху это сделали, то ли по просьбе машиниста, любителя паровозной музыки. Но только прикрутили они Овечке такой гудок, какого никогда даже на Эльке не бывало. Прямо-таки хор. Потянет машинист за ручку, и запоет Овечка в три-четыре голоса. Думают на линии — это

какой-нибудь новый сверхскорый паровозище валит, а это просто Овечка № 31-47 по подъездным путям пробирается. Да еще самая старая Овечка, выпуска 1901 года. Семенит она мелкими колесами и не своим голосом кричит.

На всей Сортировочной в этот день переполох был.

А другие Овечки ничем одна от другой не отличаются, только номера у них разные.

Юркие это паровозики! Они вагоны и соберут, и по путям их расставят, и туда сбегают, и сюда поспеют. Круглые сутки носятся Овечки по Сортировочной. Тысячи три-четыре вагонов другой раз натолкают с заводов на станцию, — глядишь, за ночь уже и рассортировали их, подобрали по адресам, выставили в затылок. Сцепщик обойдет, свинтит вагоны, — и готов поезд.

Докладывает диспетчеру Сортировочная:

— Принимайте!

— Понято, — отвечает диспетчер.

В дальнюю дорогу вести состав — это уже не овечкино дело. Тут уж к выходным путям Щуки из депо подкатывают. Отцепят составители Овечку, взвизгнет она на прощанье и побежит по своим делам. А Щука ответит ей басом и возьмет состав на крюк.

С этой самой минуты попадает состав на график к диспетчеру.

7

Но плох тот диспетчер, который ничего, кроме своего графика, знать не знает. Чтобы порядок на линии был, надо диспетчеру иной раз и самому на линию показаться. Конечно, не во время дежурства, — тогда и на шаг от громкоговорителя не отойдешь. А вот в свободные часы не мешает нашему брату сесть на паровоз и проехаться по участку. Проедешься, и сам своими глазами увидишь, почему это сегодня на Навàлочной

цистерны три часа под выгрузкой проторчали, или отчего в Рябове каждый раз под семафором поезда держат: сигналист ли там зевает, или дежурный по станции шляпа?

Только лучше всего диспетчеру не с пассажирским, а с товарным составом ездить. С товарным его меньше всего ждут. Это ему и на руку. Приедет на место, и все как есть увидит, без прикрас.

Я ни одной шестидневки не пропущу, чтобы до Любани не прокатиться. Зато уж спокоен за свой участок на дежурстве. И Рябово, и Обухово, и Тосно, и все другие станции не только по голосу теперь знаю, но, можно сказать, и в лицо.

Запишешь во время дежурства на листок, что тебе твой график портило, — операторов, которые сведения о поездах задерживали, деповских дежурных, которые тебе паровозы во-время не подавали, — а потом и поедешь по душам с ними беседовать.

Помню, как однажды застрял у дежурного на станции Саблино товарный № 631. Шел он с импортным грузом, со станками последней модели для московского завода «Шарикоподшипник». Станки эти срочно выписали из-за границы, заплатили за них золотом. В Ленинградском порту при разгрузке парохода специальный субботник устроили. Тут же на месте в порту состав сформировали, помимо всякой Сортировочной, и к нам на главную линию перебросили.

Я его сквозным маршрутом отправил повышенной скоростью — от Ленинграда до самой Москвы без передышки.

В этот день я как раз на линию собрался. Сдал в восемь часов утра дежурство и выехал с дачным поездом.

Приезжаю в Саблино. Смотрю в окно вагона и вижу: напротив нас какой-то длинный товарный состав стоит, и на всех вагонах мелом написано: Москва, Москва, Москва.

Вот, значит, как мой товарный экспресс без передышки идет. Сорок километров прошел и застрял в Саблине. Всего только шестисот километров до Москвы не доехал!

Выскакиваю из вагона (а раньше я и не думал в Саблине выходить) и бегу искать дежурного по станции. Попался мне по дороге проводник с московского товарного.

— Почему, — спрашиваю, — стоите здесь?

— Да дежурный отставил.

— Как отставил, зачем?

— А не знаю. Прицепку собирается делать. Вагон тут у него какой-то с прошлых суток заночевал, он и хочет сплавить его в Любань, пока диспетчер не хватится.

— Вот как, — говорю, — пока не хватится?

Смотрю — и сам дежурный является. Он из-под состава вынырнул.

Увидел меня — и чуть было обратно под состав не нырнул.

— Это что, — спрашиваю, — у вас московский отдыхает?

— Московский, — говорит. — Мы сейчас на́ выход ему дадим.

— А почему до сих пор не дали?

— Не поспели, товарищ диспетчер, все буксы проверить надо было, а в трех вагонах даже новую набивку сделать. В Ленинграде вот не досмотрели, а у нас простой выходит.

— Вот как, — говорю, — значит, Ленинград виноват... А что за вагончик вы тут к сквозному маршруту прицепляете?

Заморгал глазами дежурный, а я к селектору — ленинградского диспетчера вызываю — моего сменного.

— Как у вас московский товарный значится?

— На простое в Саблине, — отвечает. — Нагон пара. Высылаю резервный паровоз.

«Вот, — думаю, — ловкач дежурный. Он, значит, всем по-разному врет. Мне — что буксы виноваты, а в Ленинград — что машинист пар нагоняет. Нагоню же я ему пару!»

Выхожу я на перрон, а мой московский уже за семафор хвост убирает.

Ведь вот как быстро его отправили, или, как у нас говорится, «вытолкнули!»

Ну, и с дежурным этим мы быстро покончили: тоже «вытолкнули».

8

Не сразу, понятно, и из меня диспетчер получился.

Помню, привели меня первый раз на диспетчерское дежурство.

Я — старый железнодорожник, насквозь паровозным дымом прокурен.

Октябрьская наша дорога еще Николаевской называлась, еще у нас орлы двуглавые на билетах печатались, еще генералы в шинелях на зеленой подкладке управляли дорогой, а я уже работал. Телеграфистом на станции второго класса торчал, точки-тире выстукивал за двадцать пять рублей в месяц. Ну, тогда каждая станция за себя действовала — без всякого диспетчера. По своему разумению принимала и отправляла поезда и на запасный путь выкидывала. Да ведь движение-то в сущности пустяковое было. Стрелочников да путевых сторожей нельзя было и железнодорожниками назвать — уж скорей огородниками. Вылезет стрелочник из своего огорода, сделает стрелку поезду или флажок зеленый покажет, — и опять брюкву полоть.

«Диспетчер» — и слова такого мы не слыхали в те времена... Диспетчерская служба у нас с революции появилась. В хозяйстве — план, на заводах — план. Значит, и грузы по железной дороге надо возить по плану.

Вот тут-то и понадобился диспетчер с графиком. Посадили его управлять всеми станциями, всем движением поездов.

А я уже к тому времени на станции первого разряда работал, на крупной станции. И не телеграфистом, а помощником начальника. Набрался там опыта. Движение поездов и всю

железнодорожную механику я уже вдоль и поперек знал. Ну, вот и назначили меня диспетчером, привели в дежурную комнату на первый круг. С неделю я у диспетчерского стола стоял. Смотрел, как диспетчер карандашом по бумаге водит. А потом диспетчер посадил меня к столу, а сам у меня за спиной стал.

Начал и я понемногу график чертить. Пока у меня всё благополучно шло, я самостоятельно работал. А как только выскочит у меня какой-нибудь поезд из своего времени, — я сейчас назад оборачиваюсь, к диспетчеру.

— Как? — спрашиваю.

— Так и так, — говорит.

Работали мы с ним около месяца, — ладно дело получалось. А потом он и ушел, диспетчер-то. Ушел и оставил меня одного — с графиком, селектором громкоговорителем.

Вожу я карандашом по графику, а мысли собрать не могу. Громкоговоритель мне в уши орет, хрипит, карандаш у меня ломается. То и дело счет поездам теряю. Вот, думаю, какой-нибудь забуду, вот не доведу до Любани.

Ведь это же поезда, а не шашки на шашечнице. Напутаю я здесь, наворочу — на всей линии ералаш тогда получится: и столкновения, и крушения, и чорт его знает что.

Уши у меня горят, сердце как у кролика пойманного стучит, а убежать нельзя. Вот так попал в переделку!

Громкоговоритель спрашивает меня:

— Отправлять сто одиннадцатый, отправлять?

А я с перепугу да второпях и сам не знаю, отправлять его или не отправлять. Я даже и на графике его найти не могу. Вот ведь, когда у меня за спиною диспетчер стоял, — так я сразу любой поезд находил. А тут вдруг все клетки, все линии перепутались, — настоящая паутина.

Сменили меня, как сейчас помню, ровно в двадцать четыре часа — по-вашему в двенадцать часов ночи. Пришел сменный диспетчер. Посмотрел на мой график —и ничего, все поезда на

месте оказались. Принял от меня дежурство. А я, за стенки держась, из диспетчерской выбрался и еле-еле по лестнице сполз.

Вот как я учился.

Дело прошлое, а долго у меня язык не поворачивался, совести нехватало диспетчером себя назвать. Теперь-то что! Теперь я в дежурную комнату как домой к себе вхожу.

Проверю часы, осмотрю селектор, график, перелистаю журнал и — за стол. Руки и ноги сами свои места занимают и начинают работать: одна рука график чертит, другая ключи селекторные поворачивает, а нога педаль нажимает.

И главная забота в это время — так поезда провести, чтобы ни одна дряблая нитка на график не легла, чтобы струнами протягивали свой след поезда на графике. Чтобы пятьдесят девять поездов без минуты опоздания в соседнюю комнату уходили. Бывает, что удается так сработать. Ну, тогда после дежурства идешь весело, с третьего этажа вниз как школьник скатываешься. А бывает, что идешь по той же лестнице вниз и думаешь: бить тебя не били, а следовало бы. Линии на твоем графике разбрелись, разъехались. Перед сменным дежурным совестно!

Остановишься на лестнице и спрашиваешь себя: как же это так вышло, товарищ диспетчер?

Машинисты виноваты? Нет, машинисты исправно поезда вели. Дежурные по станции? И эти не зевали — свое дело делали. Сигналисты? Кондуктора? Сцепщики? Путевые сторожа? Да нет, все они ладно работали, приказания твои исполняли. Тут и признаешься себе: сам виноват — где поторопился, а где и проканителился.

9

Самое трудное в нашем деле — диспетчерские задачи решать. Бывают задачи и посложнее и попроще, а решать их надо сразу, иногда в одно мгновенье.

Подчас и рисковать приходится, хотя это по уставу не положено. Но ведь всего устав не предусмотрит. Устав ведь рассчитан на нормальный график, — скажем, на 59 поездов.

А вдруг тебе какой-нибудь шестидесятый, а то и шестьдесят второй и шестьдесят третий подбросят? Вот и справляйся, как знаешь. Хочешь — не хочешь, а рискуй. Правда, за каждый риск ты отвечать будешь. Этого забывать не следует.

Устав уставом, а свою голову надо на плечах иметь. Возьмем, например, опоздания. По уставу поездам и вовсе опаздывать не полагается. А они иной раз опаздывают. Вот и строй новую комбинацию на графике.

Хорошо еще, если один поезд опаздывает, а если их у тебя два или три, или еще больше?

Тут уж ты прямо фокусником должен быть, жонглером: один подхвати, да другой не упусти, да третий поймай.

А главное — виду не подавай, что ты волнуешься или сомневаешься. Отдал приказание — держись его. А начнешь менять свои приказания, мямлить у селектора — вернее всего впросак попадешь. Растеряются все на линии и пойдут путать. Дежурный засуетится, сигналист поднимет крыло семафора на выход, а перед самым паровозом перекроет на три крыла — на запас. Машинист запутается вконец и разгонит состав на полный ход. Вот и врежется поезд в тупик, перебьет в щепки вагоны.

Нет, лучше уж рисковать, чем мямлить.

Был у меня такой случай.

Отправлял я не так давно машины — доменные воронки — на Урал, Магнитострою.

Обычно грузы на Урал по Северной дороге, через Вологду идут. Другой диспетчер ими распоряжается. А тут забили Вологодскую линию товарными поездами — вот и пришлось доменные воронки через Москву, по Октябрьской дороге гнать.

А Октябрьская — это уж мой участок. Значит, мне эту задачу и решать.

Выкатили груженые вагоны с заводов. Днем еще выкатили, часа в четыре дня, по-нашему в шестнадцать часов. А пока согнали вагоны на Сортировочную, пока сформировали поезд, пока документы ему выправили, — подошло дело к вечеру. Надо сразу отправлять — груз-то ведь экстренный...

Вечерние часы у меня, у диспетчера, вроде петли на шее. Днем-то еще ничего, на дневном дежурстве и чаю попьешь, и в стакане ложечкой помешаешь... А вечером только дышать успевай. Пачками кидаешь на линию поезда из Ленинграда. Вокзал, перроны переполнены пассажирами. Рабочие заводов, служащие, дачники, курортники, командированные — всех надо вывезти за город, каждый билет взял. Кидаю пассажирские поезда пачками, а экстренный мой, с доменными воронками, все еще стоит. Никак не могу его прихватить в пачку да из Ленинграда вытолкнуть. Для этого надо какой-нибудь пассажирский выдернуть, а на его место сунуть товарный с воронками. А ведь каждый пассажирский поезд свое точное расписание имеет — часы и минуты отправления. Как же его из пачки выбросить?

Что тут будешь делать? Воронки-то ведь не завтра, а сегодня отправить надо. Приказ от директора дороги. Да и без приказа я понимаю, как ждут этих воронок на Магнитострое. Без них ведь домны отстроить нельзя. Может, каждый день люди на станцию выходят — этот поезд встречать.

Вижу это как перед глазами и держу поезд на карандаше. А только вот как пропихнуть мне его на линию — ума не приложу.

Схлынули у меня наконец пригородные поезда, — пошли дальние. На Иркутск. На Петрозаводск. На Москву. Полоцкий... Новосибирский... Еще на Москву. Опять на Москву. Ну, не передохнуть...

Звонят из дирекции дороги: «Как воронки»? Отправлены? К ночи готовятся еще два экстренных состава с машинами в Донбасс... Необходимо их вогнать в расписание».

Повесил я трубку. Вот так, думаю, переплет... На ночь вся надежда была у меня. Думал, как пропущу скорые, так и дам магнитогорский между шестисотыми. А тут... отбирают у меня ночь. Вот оно, дело-то как повернулось...

Шарю я, шарю по графику. Тычу карандашом, тычу, — никак не могу приткнуть поезд с воронками. Такая теснота... Ткнулся перед двадцать седьмым, — это скорый московский,— не выходит. Перед двадцать девятым ткнулся — опять не вышло. Перед тридцать первым. И перед тридцать первым не вышло. А тут на очереди уже «Красная Стрела», московский экспресс. Что ж, думаю, делать с воронками? Из диспетчерской тебя сейчас не выпустят. Хоть в лепешку расшибись, а найди место воронкам.

Кашлянул громкоговоритель:

— Диспетчер...

Гляжу на часы. Ну да, вот она и «Стрела».

— Кто у аппарата? — спрашиваю.

— У аппарата первый светофор. «Красная Стрела» готова. Подаем из парка к вокзалу.

— Понято, — говорю, — подавайте...

Ткнул я карандашом в график — поставил точку. Хрустнул мой карандаш, поломался. И чинить я не стал. Отбросил карандаш, взял новый. Что ж, остается теперь только дорожку «Стреле» приготовить. Вызываю линию, отдаю приказание:

— Убрать поезда на запасный. Освободить путь — «Стрела» пойдет.

Все поезда, какие есть на линии, тут обязаны посторониться. Иной поезд, может, километров пятьдесят уже от Ленинграда отмахал, возле Тосна где-нибудь погромыхивает, а тронется

«Стрела», от перрона только оторвется, — должен уж этот поезд во все лопатки к ближней станции катить и с ходу на запасный укрыться.

На пятьдесят километров путь чистый должен быть перед «Стрелой». Такое правило. «Стрела» еще из Ленинграда снимается, а ее уже в Малой Вишере встречают. Вон как!

Сто шестьдесят километров до Вишеры одним духом «Стрела» проходит. В Вишере чуть передохнула — катит без остановки до Бологого. А Бологое — уж полпути до Москвы. Вот какие у «Стрелы» перегоны! Все станции — по боку. Обухово, Славянка там, Тосно, Ушаки — вроде путевых будок для нее. Только в окнах помигают.

Повернул, значит, я селекторный ключ — отдал приказание очистить линию. Стоит «Стрела» у вокзала, под стеклянной крышей. Ей еще и паровоз из депо не подан, проводники в белых перчатках только еще первых пассажиров встречают, по вагонам рассаживают, — а путь для «Стрелы» до самого Тосна уже расчищен.

А все-таки как же быть с воронками?

Встал я, прошелся по комнате, опять сел.

И, понимаете ли, решился я. Повернул опять селекторный ключ.

— Депо? Машиниста Коротаева позвать.

Вызвали Коротаева. Поздоровался я с ним на этот раз, хоть и не полагается этого по правилам. И спрашиваю:

— Как, — говорю, — чувствуешь себя? Щука твоя исправна ли?

— Оба, — говорит, — в исправности — что я, что Щука.

— Очень рад, — говорю, — а теперь слушай меня, Коротаев. Можешь ли ты на своей Щуке от «Стрелы» ускакать? С товарным поездом в шестьсот пятьдесят тонн, с доменными воронками?

— От «Стрелы?»

Замолчал громкоговоритель.

— Ну, как, — спрашиваю, — Коротаев, поедешь или нет? Я тебя не неволю.

Молчит громкоговоритель.

Отпустил я ногой педаль и выключил Коротаева.

А сам взял резиночку, сижу, подчищаю следы поездов на графике. Ничего, значит, не поделаешь. Так тому и быть. А скоро мне смена.

Разве приказание отдать Коротаеву? Ну, прикажу, — я ведь каждому машинисту по службе приказать могу. Прикажу — поедет Коротаев. Потащится его Щука с воронками, отъедет двадцать семь километров за час, законную свою норму... Так разве это мне надо? Мне надо, чтобы взревела Щука, чтобы чортом понесла... От «Стрелы», от Эльки чтобы удрала, — вот что мне надо.

Не кого-нибудь я и вызвал для этого дела, а самого Коротаева. Коротаев — лучший машинист товарных поездов.

Сижу, подрисовываю свой график и думаю: если уж и Коротаев меня выручить отказался, значит... И додумать я не успел. Гаркнул громкоговоритель:

— Диспетчер, Николай Петрович!

Коротаев! Сразу его по голосу узнал. Дух у меня перехватило.

— Так и быть, поеду с воронками. Отдавай приказание. Только скажи ты мне, пожалуйста, — долго ли мне от «Стрелы» улепетывать придется?

Хотел я было крикнуть: «Друг ты мой милый, Коротаев, вот выручил!..» Да некогда разговаривать, нежности разводить. Говорю официально:

— Уходить надо от «Стрелы» самое малое до Ушаков. Шестьдесят три километра. А с Ушаков уж легче будет, с Ушаков я вас в график смогу втиснуть. Выводите паровоз.

— Понято! Паровоз под полными парами...

Я — за циркулярный ключ. Этот ключ разом все станции вызывает.

Зашумели в громкоговорителе все мои девятнадцать станций, сопят, покрякивают. Насторожились, видно. Еще бы! Циркулярный вызов, экстренный...

— К «Стреле», — спрашиваю, — готовы?

— Готовы, — говорят.

— Так вот, слушайте, — перед «Стрелой» я выпускаю особо срочный груз на Урал, Магнитострою. Проталкивайте его обеими руками. До Ушаков или за Ушаки, не ближе.

— Понято, — отвечают все сразу. По голосам слышу — поняли станции положение.

— А каким номером, — спрашивают, — пойдет поезд?

— Двухтысячным. Даю ему две тысячи третий номер.

— Понято...

У нас, у диспетчеров, есть правило. Когда снаряжаешь сверх графика поезд, — давай ему свой особенный номер. А те поезда, что по графику ходят, — как вам уже известно, — постоянные номера имеют.

Отправляют мой двухтысячный.

Уйдет или не уйдет?..

Гляжу на часы. Отсчитала стрелка минуту. Переползла на вторую. Ползет, ползет... Тьфу ты, — как букашка тащится, сил нет больше на стрелку смотреть. Подвернулась газета. Читаю объявления, под объявлениями — фамилия редактора. Под редактором значки непонятные: горлит... номер... типография, заказ, опять номер... Да, думаю, номер. Будет мне номер, если Коротаев с воронками не прорвется...

Не утерпел я, вызвал Обухово — первую станцию по ходу поезда.

— Как двухтысячный, — спрашиваю, — не видно? Не подходит?

— Да проскочил уже, — говорят. — Минуты четыре как проскочил.

— Тьфу ты! Что ж вы не докладываете?

— Сигналист тут у нас напутал, товарищ диспетчер. Кричит с башни: «Стрела» прошла! Какая, говорю, тебе «Стрела»— разве время «Стреле?» Это товарный был. А сигналист — свое: «Товарные так не ходят. Этого пулей пронесло...»

Дальше я и слушать не стал. Отпустил ногой педаль — захлопнул рот Обухову. Вот так, думаю, разогнал машину Коротаев. Вот катит... Ведь уйдет от «Стрелы», уйдет, чорт бы его побрал... А вдруг да сорвется? Вдруг пару ему нехватит, а?.. Ерзаю на стуле — никакого терпения нету. Руку не снимаю с ключа. Требую Колпино — следующую станцию:

— Как двухтысячный? Не слышно у вас?

— Не слыхать...

Тут меня Ленинград-пассажирский перебил:

— Диспетчер!

Надо же в такую минуту!

— Ну, что вам? — спрашиваю. — Говорите покороче.

— Отправляется «Красная Стрела»... — И пошел, и пошел тараторить громкоговоритель: — Паровоз Элька — девяносто семь. Машинист Гарный. Кондуктор Липатов. Вагонов двенадцать, осей сорок восемь.

Слушаю я рапорт, а сам губы стиснул.

— Понято, — говорю. — Отправляйте «Стрелу».

Сел я поплотнее на стул. Вот оно, думаю, когда начинается.

Тормошу опять Колпино — уцепился за ключ, не отпускаю. А рука дрожит.

— Где двухтысячный? — кричу. — Двухтысячный? Да отвечайте же! Подошел? Нет?

— Да постойте, — бормочут что-то из Колпина. — Товарный... экспресс... Щука...

— Говорите ясней, — кричу я. — Докладывайте по форме.

— Две тысячи третий... прошел Колпино... ноль часов двадцать восемь минут.

— Понято, — отвечаю ему. Гляжу на часы. Ну, держись, Коротаев! Ну, держись! Сорок минут продержишься — и выскочим мы с воронками. Пар бы только не сел в котле! Пару бы тебе, пару!

Летят два поезда на моем участке — воронки впереди, «Стрела» сзади. Гаркает громкоговоритель с линии — то один поезд выкрикнет, то другой:

— «Стрела» Славянку миновала... Двухтысячный Саблино проскочил... «Стрела» Колпино...

И вижу я, как «Стрела» перегоны проглатывает, как режет она, кромсает мой график. И настигает Коротаева — все ближе, ближе... Вижу, как она раскидывает прожекторами ночь, обшаривает рельсы, шпалы... Вижу, как нащупывают ее прожектора маленький красный фонарик впереди — это хвост коротаевского поезда. Не уйти Коротаеву...

Нет, еще может уйти, еще может... Эх, был бы я на паровозе... Сам бы у топки стал.

Час три минуты ночи. От Саблина до Тосна ему минут двадцать итти.

Молчит Тосно. Нету Коротаева... Час пять минут... Нету... Час восемь. Да что с ним?

Час девять минут.

Двухтысячный прошел Тосно.

Дежурный докладывает — проскочил по главной. Коротаев что-то кричал с паровоза, а что кричал — в грохоте не расслышать было.

Да и я сам догадываюсь, что̀ мог кричать Коротаев. Выдохлась Щука. Не выходит у нее дело... Минуты бы на три ей раньше в Тосно прийти, — а то «Стрела» ей на хвост наседает. А ведь вот же, вот они — Ушаки... Последний перегон остался — и на̀ тебе.

Час двадцать минут ночи. «Стрела» тоже Тосно проскочила. Догоняет... В десяти минутах друг от друга поезда. Эх, чорт... Придется захлопнуть перед «Стрелой» семафор. А то налетит.

Требую блок-пост. Руку не спускаю с ключа. Обеими ногами выжимаю педаль.

Сейчас покажется «Стрела» у блок-поста... Сейчас увидит ее сигналист... Прикажу ему захлопнуть семафор...

Да мыслимое ли это дело — задержать «Стрелу», да еще на каком-то дрянном перегонишке?!

Сижу я. Рука на селекторном ключе.

— Подходит, — кричит мне громкоговоритель. Это сигналист с блок-поста докладывает. — Огни показались, товарищ диспетчер. «Стрела» идет.

Перевел я дыханье... и выпалил:

— Закрывайте!

— Что? Закрывать? — спрашивает в испуге сигналист. — Товарищ диспетчер...

И вдруг громкоговоритель затрещал другим голосом:

— Я — Ушаки. Принимаю двухтысячный.

— Ушаки! Да не может этого быть! Постойте! Блок-пост, пропустить «Стрелу». Ушаки! Позвать Коротаева.

— Здесь я, товарищ диспетчер, у селектора.

— Ты, Коротаев?

— Я самый.

— Успел? Пришел?

— Прибыл благополучно. На три минуты от «Стрелы удрал. Еле от нее хвост утянул. К Ушакам-то, сами знаете, какой подъем...

— Молодчина ты, Коротаев. Классный машинист. А я-то уж и не надеялся. Думал, скис ты. Я даже «Стрелу» останавливать хотел.

— Да что вы, товарищ диспетчер! Я ж кричал в Тосно де-

журному, что уйду от «Стрелы». А ход я нарочно придержал, чтобы к подъему пар накопить. Поднял я пар и взял подъем. Иначе у меня не выходило никак, товарищ диспетчер. Как раз я и сел бы иначе-то...

М. ПЛЬИН

ПЕРЕСТРОЙКА ПУСТЫНИ

АВТОЛИТОГРАФИИ Н. ЛАПШИНА

Бывают ли реки без устьев, леса без тени, рыбы с легкими?
Бывают ли сухие туманы и сухие волны?
Какое дерево умирает, если полить его водой?
Какое животное плавает в песке, как рыба в воде?
В какой стране можно ходить летом по озеру?
Кто построил пустыню и кто ее перестроит?

ЧЕГО НЕХВАТАЕТ ПУСТЫНЕ?

Седьмая часть нашей страны— пустыня или полупустыня. У нас — самая большая песчаная пустыня на земном шаре — Кара-Кумы. Целые республики лежат у нас в песках.

Четыре пятых Туркменской республики, девять десятых Кара-Калпакской республики — это пески.

О пустыне говорят словами, которые все одинаково начинаются: бесплодная, безводная, безлюдная, безотрадная, безнадежная.

Эти слова говорят не о том, что в пустыне есть, а о том, чего в ней нет. И слово «пустыня» значит пустое место, место, в котором нет ничего.

Но это неверно. Пустыня — не пустое место.

Бесплодна ли пустыня?

Нет, не бесплодна.

В песчаной почве пустыни есть известь, есть и другие минеральные вещества, которые нужны растениям.

Но растениям нужна не только питательная почва. Им нужен солнечный свет. А разве в пустыне мало солнечного света? Там солнечных дней больше, чем где бы то ни было. Там можно возделывать самые редкие растения, которые растут только под тропиками.

Побывайте в Приаральской пустыне, на станции Челкар. Вы увидите там около домиков железнодорожного поселка шпалеры винограда, цветники роз, астр, тюльпанов, кусты малины, смородины, крыжовника. Железнодорожники угостят вас вишнями и сливами, вам покажут грядки с огурцами, капустой, луком, морковью, клубникой.

И это в пустыне!

Клочок пустыни на станции Челкар руками человека превращен в настоящий ботанический сад.

Кто это сделал? Профессор? Ботаник? Агроном?

Нет, это сделали железнодорожники Джевинский и Левченко. Много лет они работали, возились на своем клочке пустыни, не слушая насмешек.

Значит, вот что надо, чтобы сделать пустыню цветущей: надо поработать.

Безводна ли пустыня?

Нет, не безводна. Ученые говорят, что в пустыне Кара-Кумы на глубине одного метра песок уже не сухой, а мокрый. Песок — лучший собиратель и хранитель воды. Весной дождевые и талые воды быстро просачиваются в песок, не успевая испариться. В глубине — под слоем сухого песка — вода не высыхает даже в такую жару, какая бывает в пустыне.

А рядом, к югу от наших пустынь, в высоких горах, — там вечные снега и ледники. Там воды сколько угодно, надо только суметь ее взять.

Что надо, чтобы взять эту воду? Надо поработать.

Безлюдна ли пустыня?

Нет, не безлюдна.

В пустыне живут люди. Сотни тысяч людей кочуют по пустыне с семьями, со всем своим скарбом, с верблюдами, овцами и даже домами-кибитками. Нелегко живется людям в пустыне. Летом жара гонит их из пустыни в горы. Зимой морозы, снежные бури, гололедица валят стада, а без стад — голод, без стад — кочевнику смерть. Этим людям жилось бы лучше, если бы у них был хотя бы только запас сена на зиму, хотя бы только убежище для стад в непогоду, в морозы. Надо им помочь осесть, зажить по-новому, жизнью оседлых людей.

Можно ли это сделать и что для этого надо? Надо поработать.

Безнадежна ли пустыня?

Нет, не безнадежна.

В пустыне могли бы быть и сады, и поля, и рощи, и дороги, и города.

Пустыня могла бы вся стать одним сплошным оазисом. А сплошной оазис — это уже не пустыня.

Чего же нехватает пустыне?

Нехватает только одного: человеческого труда.

Чтобы переделать пустыню, надо поработать.

Но как поработать? В одиночку или вдвоем, как работают Джевинский и Левченко? Нет, так сделаешь немного. Ведь вот, пока Джевинский и Левченко работали одни, их питомник был всего только маленьким островком среди необъятного песчаного моря. А теперь, когда на помощь пришла железная дорога, дело пошло по-другому. Построили плотину и создали искусственное озеро для орошения. Вспахали на верблюдах сто пятьдесят гектаров. Поставили нефтяные двигатели и центробежные насосы. Подняли воду и направили ее с высоты по желобам и каналам по всему участку.

И к осени Челкарский поселок был завален помидорами,

огурцами, луком, морковью, редиской, арбузами. Тут уже размах был другой.

Это сделала железная дорога.

А если не одна железная дорога, а вся страна со всеми ее железными дорогами, со всеми заводами и городами возьмется за переделку пустыни по общему плану, тогда от пустыни, от прежней пустыни, не останется и следа. Когда не одни Джевинский и Левченко, а миллионы Джевинских и Левченок возьмутся за дело, тогда пустыня станет совсем другой. Самое слово «пустыня» забудется, и никто уже не скажет о ней, что она безводна, бесплодна, безлюдна, безнадежна, безотрадна.

ДОРОГА В ПУСТЫНЮ

Переделать пустыню — это такое дело, за которое никто и нигде еще не брался.

Правда, и раньше шли люди в пустыню. Шли ученые, шли купцы. Но вслед за ними двигались войска с пушками. А бывало, что и сами исследователи пустыни были участниками походов и завоевательных экспедиций. Путешественник Семенов участвовал в походе полковника Сементовского, усмирителя киргизов, Северцев участвовал в походе Черняева, а Федченко — в походе Абрамова. Часто ученые и сами были военными. Пржевальский был полковником генерального штаба.

И раньше строили в пустыне дороги.

Железная дорога через пустыню Кара-Кумы построена еще до революции. Но для чего ее построили? Не для того, чтобы переделывать пустыню, а для того, чтобы подвозить войска, провиант и оружие, для того, чтобы держать в повиновении народы пустыни.

Пустыня сама по себе не нужна была завоевателям. Она была для торговцев и предпринимателей только досадной

помехой на пути к оазисам, на пути к хлопку, к цветущим садам, к берегам великих рек Средней Азии. И народы, населяющие пустыню, тоже были помехой, которую нужно было убрать, барьером, который надо было сломать.

Не для труда, а для наживы шли в пустыню завоеватели.

Да и в наше время — разве думает кто-нибудь в других странах о перестройке пустынь? Для чего дельцам и предпринимателям переделывать пустыню, для чего создавать в пустыне поля и сады? Ведь и те поля, которые у них есть, они готовы превратить в пустыню, лишь бы поправить дела, поднять цены на хлопок, на сахар, на фрукты, на кофе. Сколько тысяч гектаров заброшено уже в Америке? Урожай оставляют несобранным, поля оставляют незасеянными, — где уж тут думать о перестройке пустынь.

Но и в лучшие времена, когда цены были высоки, когда торговля шла бойко, и тогда торговцам и предпринимателям не было расчета перестраивать пустыню. Да и где им перестроить пустыню! Ведь для того, чтобы целиком перестроить ее, нужна дружная работа миллионов людей по одному общему плану. А общего плана нет нигде, кроме Советского Союза. И немудрено, что оазисы, созданные европейцами в пустынях жарких стран, — это всего только точки на карте. Во многих местах европейцы не уменьшили, а увеличили площадь пустынь. Всей южной Африке, например, угрожает участь стать пустыней. Цветущие степи вытоптаны стадами. Реки обмелели. Все глубже и глубже приходится рыть землю, чтобы добыть воду. В 1918 году один ученый, профессор Шварц, предложил запрудить течение двух южноафриканских рек и направить их воду внутрь пустыни Калахари. Это сделало бы климат южной Африки более влажным. Пустыня Калахари превратилась бы в плодородную страну. Но проект профессора Шварца остался неосуществленным, как и многие другие проекты. Сколько нужно на это денег, да еще когда эти

деньги принесут доход! Другое дело — построить через пустыню дорогу, чтобы проникнуть в лучшие, еще нетронутые земли колоний. Это выгоднее.

И вот в пустыне возникает дорога — голая дорога среди голой пустыни. Идут по дороге солдаты, топая сапожищами. Бегут от завоевателей, уходят в глубь пустыни народы, которые в ней живут.

А перестройка пустыни? Это сказка для маленьких детей!

Но для нас перестройка пустыни — не сказка. Мы не боимся вкладывать труд в это дело. Он окупится, этот труд, когда пустыня перестанет быть пустыней.

Народам, которые живут на песках, мы не враги, а союзники. Тысячи лет вели они непосильную борьбу с пустыней. Им надо помочь победить в этой борьбе. Пустыня была им суровой хозяйкой. Пустыня заставляла их жить тяжелой жизнью кочевников, а теперь они будут хозяевами пустыни.

И каждая дорога, которую мы строим, — это артерия, по которой польется в тело пустыни оживляющий ее труд. Пойдут по дороге не солдаты, не завоеватели, а рабочие, повезут по дороге не пушки, а машины.

И эта дорога не будет голой дорогой среди голой пустыни. Она обрастет полями, садами, рудниками, городами и заводами.

ВОДА В ПУСТЫНЕ

Что же нужно, чтобы пустыня перестала быть пустыней?

Прежде всего нужна вода.

Пустыня не безводна. Пески оберегают воду от солнечных лучей, не дают ей высохнуть, испариться. Если бы воды в песках не было, — не было бы и трав, и кустарников, и деревьев, которые растут на песке.

Но воды мало. Воды нехватает.

Ведь в пустыне жарко и сухо. За все лето иногда не выпа-

дает ни одного дождя. Воздух такой сухой, что свежий хлеб за один день превращается в сухарь. Газета, привезенная утром, к вечеру так высыхает, что ломается на куски.

Воды нехватает, ее приходится беречь, каждую каплю держать на учете.

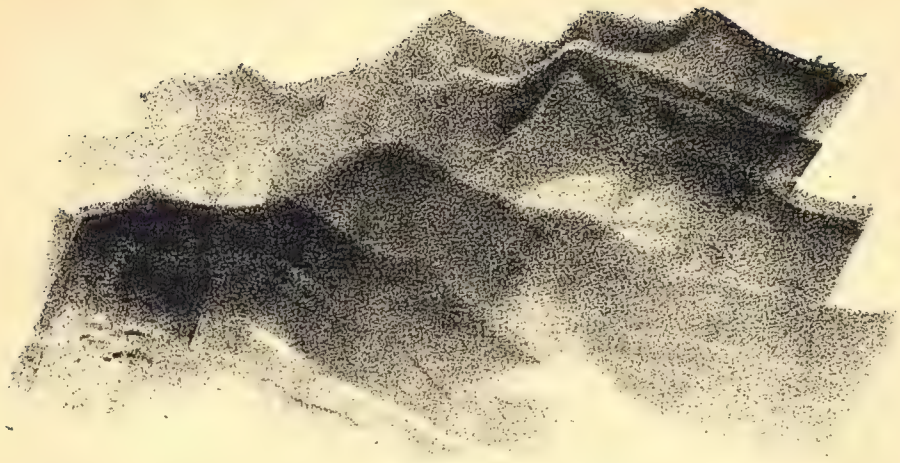
Берегут воду не только люди, берегут ее животные и растения. Недостаток воды виден во всем. Из-за того, что в пустыне мало воды, там все не такое, как в других местах. Не такие реки, не такие озера, не такие деревья, не такие животные.

В пустыне тучи без дождя. Бывает, что найдет черная туча. Вот-вот хлынет дождь, польется на раскаленный песок. Но воздух в пустыне такой сухой и горячий, что дождь высыхает в высоте, не успев упасть на землю.

В пустыне реки без устьев. Реки, которые теряются в песках, которые впадают не в водяное, а в песчаное море. Эти реки живут только весной. Летом они высыхают.

В пустыне озера без воды. Озеро — как горячая сковорода. За лето вода паром уходит в воздух, остается одна только соль, ослепительно белый круг соли. Соль блестит, и издали кажется, что это не соль, а вода. Но по этой воде ездят на верблюдах и ходят как посуху.

В пустыне леса без тени. У каждого дерева должна быть тень, а у пустынного дерева — саксаула — тени нет. От солнца под таким деревом не спрячешься. В самом густом лесу солнце жарит как на открытом месте. Почему же в этом лесу нет тени? Потому, что на деревьях нет листьев. У саксаула нет зеленых листьев, у него сами ветки — зеленые, голые зеленые ветки. Но почему нет листьев? Потому, что листья в пустыне — слишком большая роскошь. Нашему лиственному дереву, — березе, например, — в пустыне не прожить. Сколько у березы листьев — и каждый испаряет воду. В сутки березе нужно 30 ведер воды, — столько, сколько пяти коровам. Потому-то береза и любит сырые прохладные места. А в пустыне жарко



и сухо. В пустыне воду надо беречь. И вот деревьям приходится жить без листьев.

За много тысяч лет приладились деревья к пустыне. Выжили только те, которые меньше тратили воды, которые берегли воду. И так далеко это зашло, что деревья пустыни боятся воды. Саксаул погибает, если его поливать водой.

В одном месте река залила на короткое время саксауловый лес. Вода ушла, но лес погиб. Осталось огромное кладбище деревьев. Деревья повалились и покрыли землю сотнями мертвых стволов. Они погибли, как человек, который долго голодал и которому сразу дали слишком много еды.

Пустыня переделала растения, переделала и животных.

Есть на земле пустынные озера, в которых водятся рыбы с легкими. Когда в озере много воды, — рыбы дышат жабрами. Когда озеро пересыхает и в густой соленой грязи делается трудно дышать, — рыбы выбираются наверх и дышат легкими.

А змеи, которые плавают в песке, как рыбы в воде? Такие змеи водятся только в пустыне. А верблюд? Сразу видно, что это — животное пустыни. Пустыня окрасила его в свой цвет. Желтая шерсть делает верблюда незаметным, спасает его от врагов. В пустыне мало воды, и вот выживают только такие животные, как верблюд, которые могут подолгу обходиться без воды.

В природе одно зависит от другого, как в математической задаче. Попробуйте изменить одно условие — и ответ получится другой. И нигде это так ясно не видно, как в пустыне. В пустыне мало воды — и от этого меняется вся природа пустыни. И растения там другие, и животные другие, и люди живут по-другому. Летом, когда высыхают в пустыне реки, когда вода делается соленой, когда выгорают травы, человек бежит в горы, к воде, бежит со всем, что у него есть: с семьями, со стадами, с домами.

Разве кочевники не похожи на беженцев?

Идут, качаясь, верблюды. Дети плачут у матерей на руках. Бегут по обеим сторонам дороги овцы. Мужчины верхом на лошадях подгоняют отстающих. Кажется, целый народ снялся с места и бежит от наступающего врага.

И это-то бегство, которое повторяется каждый год, называют в учебниках географии «кочевым образом жизни»!

Тяжелый это образ жизни. Не сладко так жить.

Если мы хотим изменить эту жизнь, мы должны понять, что от чего зависит. Природа пустыни не такая, как в других местах, потому что в пустыне мало воды. Это вот и есть условие, из-за которого «ответ» задачи получается не такой, как нам надо. Изменим это условие, дадим воду пустыне — и все станет другое: другие леса, другие травы, другой климат, другая жизнь у людей.

ВЕТЕР ПОМОЖЕТ

Вода в пустыне есть. Среди раскаленных песков, в самую сильную жару воду все-таки можно добыть. Если вырыть колодец, будет вода. Это знают кочевники, и поэтому колодец в пустыне — не такая уж редкость. Глиняный водоем, блок с канатом, кожаное ведро. Верблюд тянет канат, ведро поднимается, вода выливается в водоем. А из водоема вода льется по трубе в большое деревянное корыто. Верблюд поит овец. Толпятся у корыта в живой очереди овцы, одна другую отталкивает, чтобы поскорее добраться до воды, смочить пересохшее горло.

Но если воду берут для водопоя, почему не брать ее для огородов и полей? Почему вместо верблюдов не поставить у колодцев двигатели и насосы?

Нужна энергия для двигателей?

В ней недостатка не будет. Разве может быть недостаток энергии там, где ветер срывает палатку и уносит ее на сотни

метров? Разве может быть нужда в энергии, там, где ветер подымает целые тучи песка на километр в высоту и всё вокруг застилает песчаным сухим туманом? Солнце кажется тогда желтым и тусклым как луна, день кажется ночью.

А песчаные волны — барханы, которые ветер гоняет взад и вперед по пустыне! Бывают барханы высотой до пятидесяти метров. Настоящая песчаная гора, и этакую гору ветер несет по пустыне. Сколько для этого надо энергии!

Но эта энергия пропадает в пустыне попусту, рассеивается, расточается даром. И это наше дело — дать ветру железные крылья. Пусть он работает крыльями, добывает для нас воду летом и электрический свет зимой.

Пройдет несколько лет — и в пустыне вырастут крылатые башни. А у подножья башен будут дома и сады, поля и огороды.

Так мы заставим ветер переделывать для нас пустыню.

Ветер строил пустыню. Это он приносил песок из речных наносов. Это он громоздил песок в песчаные волны — барханы. Пусть же теперь он перестраивает пустыню для нас и по нашему плану.

В том-то и власть наша над природой, что мы научились переделывать ее, пользуясь для этого ее же собственными силами.

СОЛНЦЕ ПОМОЖЕТ

Ветер — великая сила. Но солнце еще сильнее.

И если нужна энергия, то почему не брать ее там, где ее больше всего, — у солнца?

С какой щедростью солнце бросает свою энергию пустыне! В полдень голой рукой нельзя дотронуться до песка — обожжешься.

Но как ее взять, эту энергию, которой в пустыне так много?

Как поймать солнечные лучи, собрать и заставить работать? Есть ли ловушки для солнечных лучей?

Есть! И это очень нехитрая вещь — ловушка для солнца.

Как устроена всякая ловушка? Она устроена так, чтобы впускать и не выпускать.

Стеклянный ящик — парник, в котором зреют огурцы или редиска, — это и есть ловушка для солнца. Стекло пропускает почти все лучи, а выпускает их с большим разбором. Самые горячие лучи остаются внутри. Оттого-то в парнике можно выращивать огурцы, когда на улице еще лежит снег. На улице — март, а в парнике — июль.

Чтобы в ловушку попадали не только те лучи, которые сами идут в нее, но и те, которые проходят мимо, можно пристроить к ловушке зеркало — и зеркалом загонять в нее солнечные лучи.

Так из самых простых, всем известных вещей — парник, зеркало — можно создать новую вещь — солнечную печь, такую печь, для которой не нужно ни дров ни угля.

Значит, ловить и собирать солнечные лучи мы сумеем. Пески в пустыне солнце нагревает до 80 градусов, а мы в солнечной печи можем получить температуру вдвое или даже втрое выше.

Но поймать солнце в западню — это только половина дела. Как его приручить, заставить на нас работать?

Поместим внутри солнечной печи паровой котел — и тогда безо всякого топлива, не тратя ни одного килограмма угля, мы получим пар для наших паровых машин. А если пойдут в ход машины, пойдут в ход и насосы. И вода, спрятавшаяся от солнца в глубь песков, потечет по трубам, желобам и каналам орошать поля, поить корни растений.

Есть ли уже солнечные печи и солнечные станции?

В Египте около Каира работает солнечная станция на 50 лошадиных сил. Она орошает 200 гектаров хлопковых планта-

ций. Есть несколько солнечных установок в Тунисе и Алжире. В Калифорнии на крышах домов нередко можно увидеть плоский ящик солнечного подогревателя. Солнце греет воду для ванной, для кухни, для прачечной.

И у нас тоже есть уже солнечные установки. На Челекенских нефтяных промыслах построены солнечные опреснители, добывающие из соленой морской воды пресную воду. На Карабугазских разработках для удаления воды из мирабилита ставится солнечный обезвоживатель. В Капланбеке, около Ташкента, работают солнечные кипятильники. В Самарканде ведет опыты специальный солнечный институт — Гелиотехнический институт Академии наук. В Ленинграде работают над этой задачей ученые Физико-технического института.

Настанет время, когда солнце, которое было до сих пор врагом человека в пустыне, станет его другом.

Солнце будет орошать поля, солнце будет давать людям воду для питья. Солнце будет работать на заводах и промыслах — выплавлять серу, выпаривать воду, кипятить растворы, осаждать соли. Солнце будет добывать для людей холод в холодильных машинах, — ведь есть и такие машины! Чтобы делать в пустыне лед, нужна энергия, а энергию даст солнце.

Солнце, дающее жар, человек заставит давать и холод.

ГОРЫ ПОМОГУТ

Солнце и ветер помогут нам добывать из песков воду. И все-таки воды будет мало. Запасов воды в пустыне меньше, чем запасов земли, которую надо оросить.

Откуда же взять недостающую воду?

Вода есть — и совсем близко, рядом с пустыней.

Высоко над пустынями Средней Азии подымаются на юге горы. Белыми вершинами уходят они в другие края, в дру-

гой климат, в климат полярных стран. Внизу в пустыне жара, ни капли дождя за все лето, — а рядом в горах снега, ледники и метели.

Гренландия рядом с Сахарой!

Как же этим холодом охладить пустыню, как горной холодной водой напитать горячий песок?

Надо проложить горной воде дорогу к пустыне.

Но она и сама проложила себе пути. Десятки потоков роют себе русла в предгорьях, пробиваясь вниз. Только не всем весенним потокам удается довести свои воды до больших рек и озер пустыни. Многие погибают при выходе из ущелий: вода уходит в землю, и в мае ни одной капли воды не остается в пересохших руслах.

Что же нам делать? Так и позволить воде пропадать даром, когда она нам нужна?

Нет, мы должны подстеречь снеговые воды у выходов из гор, перехватить плотинами, построить в горах новые озера— водоемы. И из этих новых озер летом, когда вода нам будет нужна, мы направим ее на наши поля.

Две великие реки пересекают пустыню. Обе они начинаются в горах: Аму-Дарья и Сыр-Дарья. С давних пор живут люди по их берегам. Тысячи лет работают здесь земледельцы. Здесь есть вода — то, чего так нехватает пустыне. Но много ли отвоевали люди земли у пустыни? Нет. За тысячи лет людям удалось отвоевать только узкие полоски земли. Ценнейшие почвы, на которых можно было бы возделывать лучшие сорта хлопка, где могли бы быть виноградники, — эти почвы еще не все орошены и пустуют. И реки, сжатые с обеих сторон пустынями, бесполезно несут свои воды в Аральское море.

Надо помочь земледельцам, живущим по берегам этих рек, наладить работу по-новому. Ведь как они работали все эти тысячи лет? Они работали слепо, у каждого была только своя цель, своя задача, но общей цели, общей задачи, общего

плана у них не было. К чему же приводила такая работа? К тому, что люди не только создавали оазисы, но и губили их, не только строили, но и разрушали. Выходило так, как будто работали не люди, а слепые силы природы.

Сколько по берегам рек в Средней Азии погубленных, заброшенных полей. В поля проводили арыки — оросительные каналы, а об отводе воды с полей не думали. Вода застаивалась, получались болота. А там, где застоявшаяся вода испарялась, — в почве оставались принесенные соли, почва делалась негодной, соленой. Поля превращались в солончаки.

Кто создавал эти болота и солончаки?

Сам человек.

А потом ему приходилось бросать поля, бросать усадьбы, переселяться на новые земли.

В верховьях рек воды было слишком много, водой заливало поля, так что они превращались в болота. А в низовьях воды нехватало. Ничем не укрепленные арыки пропускали воду как решето, и по дороге в низовья вода терялась в беспорядочной сети арыков, уходила в грунт, так и не достигнув полей. Арыки разрушались, заплывали илом. Приходилось их все время чинить и чистить. Тысячи людей заняты были этим тяжелым делом, работали чуть ли не по шею в воде. Распоряжались водой «водяные чиновники». Их назначало начальство, но начальство не платило им денег, платить должно было население. И потому «водяные чиновники» давали воду тому, кто богаче.

Теперь по-другому работают в Средней Азии. Вместо маленьких делянок там теперь большие поля колхозов. Вместо ручных орудий — машины. План и наука правят там, где работали вслепую, по обычаям дедов.

Построено много новых каналов — искусственных рек и речек с берегами и дном из искусственного камня — бетона.

Вместо беспорядочной сети арыков создается правильная оросительная сеть. За первую пятилетку в хлопковых районах нашей страны орошено шесть с половиной тысяч квадратных километров.

ВОСКРЕСИМ МЕРТВЫЕ РЕКИ

Первобытную сеть арыков мы должны заменить правильной оросительной сетью.

Но есть места, в которых каналы рыть не придется. Вода сама пойдет куда надо, — нужно только построить плотины.

Много тысяч лет тому назад в Средней Азии было больше рек, чем сейчас. Мощные потоки, вытекая из-под ледников, несли в пустыню ил, гальки, песок. Реки высохли, но речные наносы остались, осталась плодородная почва.

В эти старые русла, в эти мертвые реки мы можем направить воду из тех рек, которые остались в живых. Не дадим воде уходить из рек без пользы в Аральское море! Пусть она разольется по старым руслам, воскресит мертвые реки. И на берегах этих воскресших рек мы создадим новые оазисы. Новые тысячи гектаров отвоюем у пустыни.

В ПУСТЫНЕ ВОЙНА

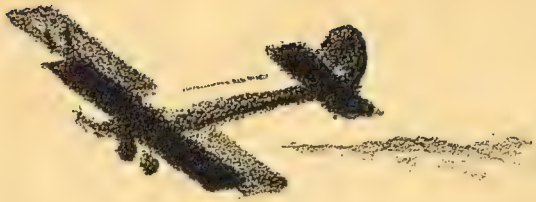
В пустыне Кара-Кумы по левому берегу реки Аму-Дарьи пески наступают на фронте в 250 километров. Жители отходят, оставляя во власти песков усадьбы, хлопковые поля, виноградники. Во многих местах пески засыпают дороги.

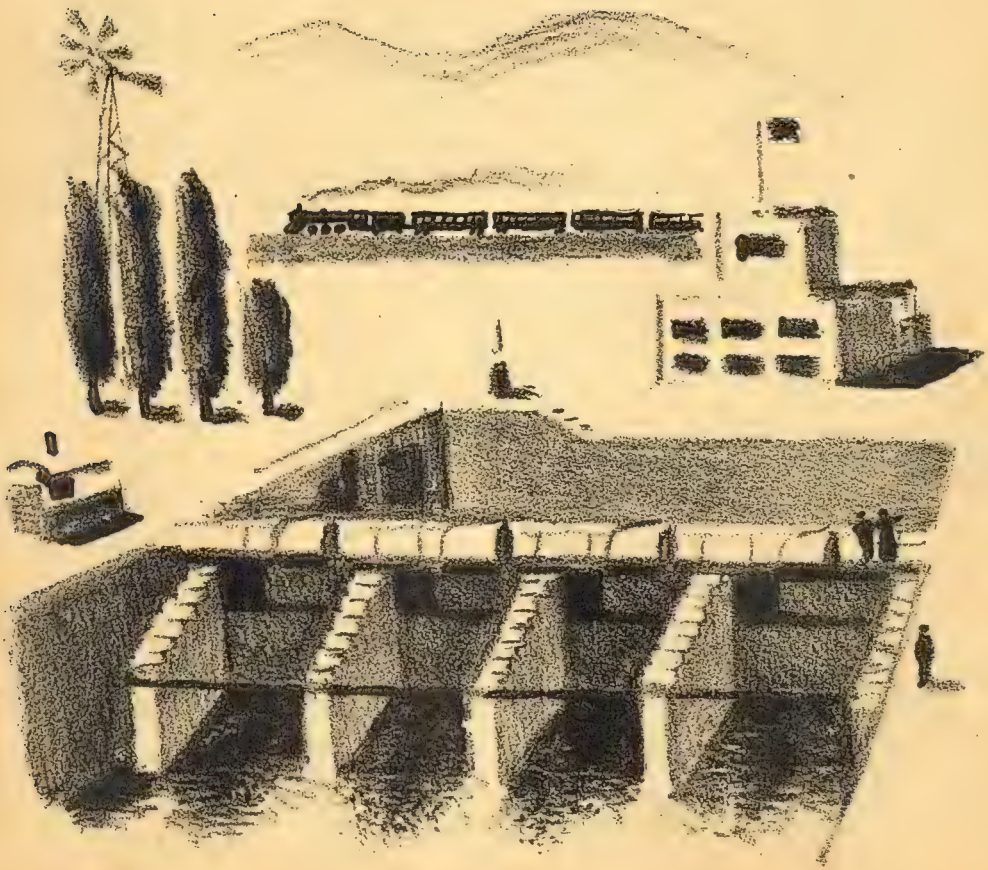
В пустыне Кызыл-Кумы пески наступают на Бухарский оазис фронтом в 50 километров.

Оазис Кара-Куль почти целиком захвачен песками.

Пески угрожают линиям железных дорог и оросительным каналам.

В пустыне Кара-Кумы пески засыпали дорогу, ведущую





к серному заводу, и временно остановили автомобильное движение.

На разработках у залива Кара-Бугаз песками попорчены залежи ценного химического сырья — мирабилита.

Борьба идет, но нужна помощь, нужны подкрепления.

Самые ценные земли — под угрозой. Бухарский оазис будет засыпан песками Кызыл-Кумов, если во-время их не остановить. Лента садов и полей у подножья Копет-Дага будет засыпана, если пескам Кара-Кумов не будет дан отпор.

Путешественники не раз находили в пустыне мертвые города — развалины городов, засыпанных песком и давно покинутых жителями. Такая же участь грозит живым городам и живым оазисам.

Огромными волнами — барханами — высотой в 10, а то и в 50 метров наступает песок. Идет песчаная гора. Кто ее остановит? Дом попадется — она дом засыплет. Дерево попадется — она дерево засыплет. Первыми погибают абрикосы и персики, когда песок доходит до трети ствола. Дольше всех держится дерево карагач, но и от него остается только сухой пень, когда пройдет песчаная волна. Люди бросают усадьбы и строят новые дома подальше от песков. Но пески идут за ними и вытесняют их из новых домов. Местами в кишлаках — деревнях — два ряда усадеб уже брошено, и песок наступает на третий ряд.

Как бороться с песком?

Люди возводят укрепления — высокие глиняные стены. И тогда начинается осада. Песок подступает под крепость, построенную людьми, и поднимается все выше и выше. Вот-вот перевалит через гребень стены, возьмет крепость. Но защитники крепости уже надстраивают над старой стеной новую. Растет стена, — но и песчаная гора, которая на нее наступает, тоже растет. И вот сломана стена, пробита брешь, и ничем не сдерживаемый песок рушится вниз.

Дорога к полям и усадьбам открыта.

Как же остановить песок?

Чтобы его остановить, надо сначала понять, почему он наступает, какие силы привели его в движение. Ведь в пустыне не везде пески на свободе. В глубине пустыни они заросли травами и кустарниками и спокойно лежат на месте. Корни растений крепко держат их, как цепи, и не дают им воли. А вот как раз там, где поселились люди, — около орошенных полей, около колодцев, где толпятся стада, — там пески на свободе.

Отчего это так? Случайность ли это?

Нет, не случайность.

КТО ДАЛ ВОЛЮ ПЕСКАМ?

Волю пескам дал сам человек. Это он выпустил их на свободу. Это он порвал цепь, которая сковывала врага.

Как же это случилось?

С давних пор среди песков пасутся стада. Скот поедает пустынные травы, топчет ногами, разбивает тонкую корочку почвы. И когда уходят стада, на том месте, где были травы, остается голый, изрытый песок. Тут начинается работа ветра. Ветер гонит освобожденный песок по пустыне, собирает его в волны-барханы, громоздит все выше и выше. И вот уже до самого горизонта поднимаются грозные желтые волны. Кажется, что они окаменели. Но они идут. Идут медленно, незаметно для глаз, но завтра они уже будут дальше, чем сегодня. Идут, засыпая дороги, пашни, дома.

Всего только сто лет тому назад на месте многих песчаных пустынь были песчаные степи. Нарын-пески за Астраханью были целой — целинной — степью. Приходили кочевники-киргизы со стадами, приходили и уходили. Пока места в степи было много, не часто возвращались их стада на одно и то же пастбище. Но чем дальше, тем теснее делалось в степи

кочевникам. С севера теснили их русские завоеватели. Все чаще и чаще приходилось киргизам кружиться на одном месте, топча и губя степь-кормилицу, превращая ее в пустыню, в сыпучие пески.

Но не только так разрушают люди заросшие пески и дают им свободу.

Люди вырубают саксауловые леса на топливо.

Люди вырубают заросли верблюжьей колючки на корм верблюдам.

Они сами освобождают пески, которые потом засыпают их же собственные поля.

Так люди бессознательно переделывают природу — часто во вред себе.

КАК ОСТАНОВИТЬ ПЕСКИ?

Мы перестраиваем природу сознательно и по плану.

И войну с песками мы тоже должны повести по плану.

Пески надо остановить, остановить во что бы то ни стало, — ведь они могут погубить всё, что мы строим в пустыне.

Пески засыпают железные дороги, пески останавливают автомобили, пески портят штабеля ценной соли — мирабилита — на Карабугазских разработках, пески засыпают оросительные каналы и орошенные поля.

Как их остановить?

Этому мы должны поучиться у самой природы. Там, где не было человека с его стадами, там, где человек не вырубал лесов и кустарников, пустыня давно заросла и успокоилась.

Есть секрет укрощения песков, и этот секрет мы должны выведать.

БОРЬБА РАСТЕНИЙ С ПЕСКАМИ

Сыпучие пески сами зарастают, если только этому не мешать. Зарастают медленно, в течение десятков лет, но все-

таки зарастают. В котловинах между барханами поселяются первые растения-пионеры, первые поселенцы. Поселяются и живут, понемногу скрепляя пески.

Как это они ухитряются жить и расти среди песчаного волнующегося моря, на почве, которая не стоит на месте, а движется?

Много опасностей угрожает им на движущемся песке. Ветер может занести песком семена, и тогда всходам не увидеть света. Но если даже всходы успеют подняться, — надвинется песчаная гора и похоронит их под собой. А если они не погибнут от этого, они могут погибнуть от другого. Что стоит ветру, сильному ветру пустыни, выдуть песок из корней, обнажить корни, выдернуть растение и уложить его на песок мертвым?

И все-таки на сыпучих песках растут травы и кустарники. Немногим из них удается выжить, но некоторые все-таки выживают. За тысячи лет приспособились растения к пустыне.

Одним из первых приходит в пески кустарник кандым. И не приходит, а прибегает, прилетает прыжками. Семена у кандыма спрятаны в круглый орешек. И снаружи этот орешек одет упругими щетинками. Когда дует ветер, прыгает орешек как мячик, несется вперед скачками. Летит и песок следом. Но песок тяжелее, песку не догнать орешка, не засыпать.

Так кустарник кандым убегает от первой опасности. Его семена песок не может засыпать.

Но есть и другая опасность. Вырастет куст из семени. Куст не может бегать и прыгать. Как он спасется от наступающих песчаных волн? Надвинется волна — и ничего не останется от куста. Похоронит она его заживо, как хоронит персики и абрикосы на границах оазисов.

Но кустарник кандым не так-то легко засыпать! У кандыма не такие ветки, как у персика или абрикоса. Ветки у него тонкие, и на ветках нет листьев. Когда надвигается песок, —

кандым не борется с ним, не пытается его остановить. Он пропускает его сквозь ветки: проходи своей дорогой.

Но бывает, что песчаная волна так велика, что все-таки засыпает куст. Тогда начинается гонка: волна растет, и куст растет. Волна быстрее, а куст еще быстрее. И когда песчаная волна вырастет во всю свою высоту, — оказывается, что куст ее обогнал, что его ветки торчат зеленой щетиной из самого гребня волны.

И этого еще мало. Куст разрастается, весь бархан пронизывает своими стеблями. И бархан уходит с уроном, оставив на месте добрую половину.

Не хотел песок уходить добром, — пусть остается на месте!

Так кустарник кандым останавливает песок, превращает его в заросший и проросший насквозь бугор.

Но есть еще последняя опасность: погибнуть не под песчаной волной, а на ровном месте. Ветер может выдуть песок из корней. Но борьба и тогда еще не кончена. Кандым и с ветром умеет бороться. Лежа на песке, кандым выпускает придаточные корни, цепляется корнями за убегающий песок, останавливает его, собирает у себя и под собой, сам себе создает почву.

И не один кустарник кандым — есть еще другие травы и кустарники, которые умеют останавливать песок, жить на сыпучем песке.

Каких-нибудь два-три куста разбивают барханную цепь, разрывают ее на куски — на меньшие волны. Все ниже и меньше делаются волны, все гуще одевают их кустарники. И дело кончается тем, что сыпучие пески превращаются в заросшие, связанные бугры.

Растения выходят из борьбы победителями.

Но, добившись победы, они сами готовят себе гибель. Под их защитой разрастается на песчаных буграх вторая смена растений — таких растений, которые сами не умеют останав-

ливать песок. Песчаная осока и другие травы одевают бугры сплошным покровом. И вот уже тесно делается, нехватает воды для всех. Хуже всех приходится тогда первым поселенцам, которые не привыкли делиться водой с другими. И они умирают, уступая место смене.

ЗАСЕЕМ ПЕСКИ

Так вот как растения останавливают песок!

Мы выведали у природы ее секрет. И мы им воспользуемся для того, чтобы ее же, природу, переделать.

Отчего пески приходят в движение?

Они приходят в движение по нашей собственной вине.

Что же нужно, чтобы пески лежали спокойно?

Беречь в пустыне леса, не рубить их сплошь. Вырубать только прирост, чтобы лес не редел, не таял.

Беречь почву пустыни, охранять пастбища, чтобы стада не слишком долго оставались на одном месте, чтобы они не вытаптывали почву, не разбивали ее.

Но что делать с теми песками, которые уже разбиты, которые уже пришли в движение?

Неужели же оставить их на свободе?

Нет, их можно остановить. Их надо засеять, засадить травами, кустарниками, деревьями. Мы не можем ждать, пока они сами зарастут. На это ушло бы слишком много времени. Мы пошлем в пустыню самолеты. Пусть летают над ней, осыпают ее дождем семян.

Но, засеяв пески, мы не только их остановим, — мы превратим их в пастбища для наших стад.

ОТГОНИМ БАРХАНЫ ОТ НАШИХ ПОЛЕЙ

Барханы идут по пустыне не сами. Их гонит на наши поля ветер. Но этот же самый ветер можно заставить отогнать барханы от наших полей назад в пустыню.

Как же это может быть?

Ведь нельзя же приказать ветру: дуй в обратную сторону!

Нет, приказать, конечно, нельзя. Ветер не послушается. Но его можно обойти хитростью. Для этого надо только знать, как и куда ветер дует, как и куда гонит барханы. Знание — вот что нам нужно для того, чтобы силы природы нас слушались.

Как дует ветер в пустыне?

Есть места, где ветер зимой дует в одну сторону, а летом — в другую. Но барханы все-таки наступают, не топчутся на месте: они делают один шаг назад, а два вперед.

Вот этим-то мы и воспользуемся.

Если ветер летом дует не в нашу сторону, а от нас, мы ему мешать не будем. Пусть гонит от нас барханы.

Но зимой, когда ветер подует в другую сторону и поведет барханы в наступление на наши поля, мы будем мешать ему всеми способами: поставим на пути барханов крепкие щиты, задержим их движение посадками.

Что же получится?

Зимой, когда ветер наш враг, мы ему помешаем.

Летом, когда он наш друг, мы дадим ему полную волю.

И, вместо того, чтобы надвигать барханы, ветер отгонит их назад в пустыню.

ПЕРЕСТРОИМ ПЕСЧАНЫЕ СТЕПИ

Мы остановим и засеем пески пустыни. Но что мы сделаем с теми песками, которые давно заросли? Оставим их такими, как сейчас?

Нет, и эти пески надо переделать.

Какие растения растут на заросших песках?

Растет песчаная осока, растет кустарник кандым, растут еще многие другие.

Все ли они годятся на корм скоту?

Нет, не все.

Вот, например, песчаная осока. Она вся ушла в землю. У нее корней гораздо больше, чем нам нужно. На что нам корни? Нам нужны не корни, а стебли и листья. Значит, нужно осоку заменить такой травой, у которой было бы меньше корней и больше зелени. Больше будет тогда корма для скота.

Или кустарник кандым. Он хорошо умеет воевать с песками. Он хорошо позаботился о себе. Но он позаботился о себе, а не о нас. Много ли у него древесины? Много ли от него будет проку, если рубить его на дрова?

Нет, мы должны исправить песчаные степи, исправить природу.

Природа о нас не заботится. Мы должны сами позаботиться о себе.

Что же мы посеем в песчаных степях?

Мы должны подобрать такие растения, чтобы они были сочными и питательными и урожай давали большой. А главное — они должны уметь жить в пустыне. Они должны не только беречь воду, но и с пользой для нас ее расходовать.

Есть ли такие растения?

Есть!

Вот, например, луковичный мятлик. Дайте ему столько же воды, сколько песчаной осоке. Урожай он даст больший. Значит, он лучше умеет расходовать воду.

И таких растений немало.

Тут то же самое, что с машиной. Когда выбирают машину для завода, — смотрят, сколько она расходует воды, масла, материала, энергии. Только ту машину берут, которая меньше тратит и больше дает.

Инженеры полей должны при выборе растений поступать так же, как инженеры заводов.

Надо все степи проверить. В степях много никчемных, ненужных нам, жестких, непитательных трав. Но еще хуже

то, что в степях растут не только ненужные, но и вредные, ядовитые растения. Для себя они устроились хорошо, но нам они только мешают. Уничтожим их, распашем степи и на вспаханной земле посеем новые травы.

ПЕРЕСТРОИМ ЖИЗНЬ

А теперь о кочевниках.

Почему они кочуют?

Потому, что их стада живут на подножном корму.

Подножный корм — это корм под ногами, трава. Есть корм под ногами — стадо пасется на месте. Съеден корм под ногами — и ноги несут стадо дальше, к новым кормам. Выпадет зимой снег, занесет траву, — надо добывать траву копытами из-под снега. А если снег выпадет глубокий, если бураны, если вьюга? Тогда бескормица. А бескормица для скота — это голод и для людей. И вслед за голодом идут болезни и смерть.

Что нужно, чтобы кочевники перестали кочевать? Дома нужны?

Нет, не только дома.

Нужна прежде всего одна очень простая вещь — сено. Ведь если у них будет запас сена на зиму, — зачем им кочевать, искать сена на корню под снегом?

Запас корма — вот лучшее средство от бескормицы. Но, чтобы было сено, надо его посеять, нужны сенокосы, нужны луга.

Что еще нужно? Нужны загоны и скотные дворы, чтобы скот не мерз зимой. Ведь в пустыне жара только летом. Зимой — морозы.

Нужны, конечно, и дома для людей. И не только дома. Нужны больницы, чтобы лечить людей. Нужны школы, чтобы их учить. Нужны электростанции, чтобы был свет, чтобы была энергия для машин. Нужны заводы, чтобы из молока делать

масло, из кожи сапоги, из шерсти ткани. Нужны огороды, чтобы у рабочих и у колхозников не было недостатка в зеленом питании.

С давних пор кочевники в пустыне должны были обходиться без того, что нужно для здоровья: у них было мясо, но не было овощей и плодов.

Дети росли, не зная, что такое яблоко.

Нужны, значит, не только огороды, но и сады.

Но для того, чтобы все это сделать, надо работать не так, как работали прежде. Ведь перестроить пустыню — это большая задача. Тут нужен план. Тут нужна наука, тут нужен социализм, тут нужна дружная работа многих людей.

Что не под силу одному человеку, то под силу артели. Что не осилит артель, то осилит союз артелей. Что не осилит союз артелей, то осилит вся республика, а что не осилит республика, то осилит весь Союз советских республик.

Не всякий человеческий труд, а плановый, социалистический труд миллионов перестроит пустыню.

И работа уже идет. Люди перестраивают пустыню, преодолевая тысячи трудностей. Уже есть в пустыне и заводы, и колхозы, и электростанции, и дороги, и школы, и больницы. Шахты Караганды, разработки Кара-Бугаза, нефтяные вышки Эмбанефти, медеплавильные печи Джезказгана, серный завод в самом центре Кара-Кумов — все они на наших глазах возникли и выросли в пустыне.

Когда-то бывали великие переселения народов. Теперь идет великое оседание народов. За одну только первую пятилетку осело на землю больше ста тысяч семейств кочевников.

Научные станции изучают движения песков. На опытных полях выращивают все новые и новые сорта растений. Десятки научных экспедиций каждый год проникают в еще не исследованные места.

Целая колонна автомобилей прошла летом 1933 года да-

лекий и трудный путь из Москвы в Кара-Кумы и из Кара-Кумов в Москву.

Меняется пустыня, меняется и жизнь в пустыне.

ВРАГИ НАРОДОВ ПУСТЫНИ

Двух врагов боялись народы пустыни в прежние времена.

Одним врагом были люди, другим — природа.

Люди гнали, теснили кочевников. Тысячами уходили кочевники от завоевателей. Тысячами гибли по дороге под ударами другого врага — природы.

Вот что рассказывает о беглецах-киргизах путешественник Пржевальский:

«Незадолго перед нами, в тех же самых местах, то есть на средней Урунгу, провели целую зиму киргизы, убежавшие летом и осенью 1878 года в пределы Китая. Всего ушло от нас 1800 кибиток в числе, приблизительно, около 9000 душ обоего пола.

«Беглецы укочевали частью в Южный Алтай, частью на реку Урунгу.

«Впрочем, они попали сюда, попробовав сначала двинуться из Булун-Техая прямой дорогой к Гучену. Пустыня оказалась непроходимою, и партия принуждена была возвратиться на Урунгу, где провели всю зиму, испытав страшные бедствия от бескормицы для скота. Мы шли по средней Урунгу, как раз теми самыми местами, где зимовали киргизы. До самого поворота Гученской дороги, вправо от Урунгу, то есть всего верст на полтораста, зимовые кочевья киргизов встречались чуть ли не на каждом шагу. На всем этом пространстве положительно не было ни одной квадратной сажени уцелевшей травы. Тростник и молодой тальник были тоже съедены дочиста. Мало того, киргизы обрубили сучья всех решительно тополей, растущих рощами на берегу Урунгу. Множество этих самых деревьев было повалено. Кора их шла на корм

баранов, а нарубленными со стволов щепками кормились коровы и лошади.

«От подобной пищи скот издыхал во множестве, в особенности бараны, которые возле стойбищ валялись целыми десятками. Даже многочисленные волки не могли поедать такого количества дохлятины; она гнила и наполняла заразою окрестный воздух. Притом помет тысячных стад чуть ли не сплошной массой лежал по всей долине средней Урунгу.

«Грустный вид представляла эта местность, довольно унылая и сама по себе. Словно пронеслась здесь туча саранчи, даже нечто худшее, чем саранча. Та съедала бы траву и листья, на Урунгу же не были пощажены даже деревья. Их обезображенные стволы торчали по берегу реки, словно вкопанные столбы. Внизу же везде валялись груды обглоданных сучьев. Местность обезображена была на многие годы».

Вот что говорит путешественник Пржевальский. Но он многого не договаривает.

Отчего бежали киргизы? Как шло завоевание пустынь и оазисов Средней Азии?

Иногда бумага, написанная в канцелярии, обыкновенный приказ за номером и с печатью, больше говорит исследователю, чем все воспоминания очевидцев.

Вот два таких приказа:

Предписание генерала Кауфмана генералу Головачеву от 6 июля 1873 года за № 1167.

«Предлагаю Вам тотчас же двинуться в кочевья иомудов, расположенные по Хазаватскому арыку и его разветвлениям, и предать эти кочевья иомудов и семьи их полному и совершенному разорению и истреблению».

Предписание генерала Кауфмана полковнику Саранчеву от 6 июля 1873 года за № 1169.

«Ваше высокоблагородие немедленно имеете произвести

движение по кочевьям иомудов и предадите кочевья и семьи их разорению и истреблению».

Генерал Терентьев рассказывает:

«Головачев собрал всех казачьих офицеров, объявил им о полученном от Кауфмана приказании и закончил:

« — Надеюсь, вы исполните приказание без рассуждений, не разбирая ни пола ни возраста... Убивайте всех!»

Кавалерия двинулась в погоню за убегающими туркменами (иомуды — одно из туркменских племен).

«Вскоре из сотни барона Криднера дали знать, что влево от дороги виднеется масса арб и скота, направляющаяся к пескам. Заметив догоняющую их кавалерию, туркмены бросили скот, выпрягли лошадей и поскакали. Проносясь мимо каравана и не щадя никого, казаки особенно поражали вооруженных людей, следовавших пешком около арб».

Вот как завоевывали пустыню войска Российской империи, вот от кого уходили, убегали в непроходимые дебри народы пустыни.

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕК ЗА ЧЕЛОВЕКА

С давних пор природа ломала человека, не давала ему воли, по-своему строила его жизнь. И нигде власть ее над человеком не была так сильна, как в пустыне, да разве еще на далеком Севере. Потому что природа там суровее, бороться с ней труднее.

Но всем ли одинаково трудно было жить в пустыне?

Нет, не всем.

Одни люди боролись с пустыней сами, другие — руками своих слуг и работников. Слуги воевали за них с песками, безводьем, бескормицей, слуги копали арыки в хлопковых плантациях.

А у других людей не было ничего, кроме кибитки, десятка овец да пары собственных рук.

Эти люди жили под двойной властью: под властью пустыни, ее солнца, песков, вихрей и под властью своих же единоплеменников — ханов, старшин и беков.

А когда в среднеазиатскую пустыню двинулись русские завоеватели, — и тогда не всем жителям пустыни пришлось одинаково худо. Одних подвергали «разорению и истреблению», другим давали чины и ордена для того, чтобы с их помощью держать в повиновении покоренные народы.

Генерал Терентьев рассказывает, что каждый раз после сдачи ханы, старшины и беки являлись к русским генералам просить пощады и милости.

«Генерал Скобелев принимал их ласково и жаловал их почетными халатами и даже медалями. Шахрисябзских беков Джура-бия и Баба-бия после их сдачи сразу пожаловали в подполковники, хивинского хана — в генерал-лейтенанты, предводителя текинцев Тыкма-Сардара — в майоры».

Еще трупы убитых валялись на песке, а у предводителей и старшин уже красовались на халатах медали — «за храбрость» и «за усердие».

Так завоевывали край русские генералы. А вместе с войсками шли мирные завоеватели. В отряде, который брал Самарканд, были — по рассказам историков — приказчики купцов Хлудовых и Первушиных. Пока артиллеристы громили из пушек глиняные стены Самарканда, приказчики господ Хлудовых и Первушиных били поклоны, служили молебны о ниспослании победы христолюбивому воинству.

Генералы захватывали край, строили в оазисах города-крепости, а Хлудовы и Первушины, не теряя времени даром, строили в новых городах конторы, ставили склады, задешево скупали земли. Не отставали от пришлых и свои, местные купцы. Они тоже скупали земли и сдавали их в аренду по

пол-десятины за пол-урожая. В новых городах строились хлопкоочистительные заводы. На этих заводах почти не было машин. Зачем машины, когда дешевы руки?

Сейчас трудно даже представить себе хлопкоочистительный завод того времени. Там рабочие задыхались от хлопкового волокна и пыли.

Заводы и земли приносили владельцам доход. К чему же было людям наживы переделывать, перестраивать пустыню? Пустыня и без того обогащала их. Да им бы и не осилить такого большого дела!

Бывали случаи, что начальник края, генерал-губернатор, недолго думая, приказывал обсадить все дороги в пустыне деревьями — белой акацией или айлантом, или еще каким-нибудь невиданным деревом. Ну, и сажали без рассуждений. Но деревья не хотели слушаться и расти по приказу губернатора. Они засыхали и гибли в чужом климате на непригодной почве.

А в 1898 году в Голодной степи для ее орошения построили канал — канал Николая Первого. Но как построили! Лучше бы не строили совсем. Уже через несколько лет плотины перекосились, канал заплыл илом, орошенные поля превратились в болото.

Из случайных и непродуманных затей прежних хозяев пустыни не выходило толку.

По-настоящему же взяться за перестройку пустыни им было и не под силу и незачем.

А трудящимся людям, тем, кто трудились в пустыне и ее оазисах, — им перестройка пустыни была нужна, она преобразила бы их жизнь. Но что они могли поделать? Ведь для того, чтобы взять в свои руки власть над природой, надо было сначала взять в свои руки власть над страной, сделаться хозяевами страны.

Настал семнадцатый год. В нашей стране рабочие стали хозяевами, разрушили старый порядок и принялись строить новый.

Старый порядок, это — человек против человека, разделение людей на классы.

Новый порядок, это — человек за человека, общество, в котором нет классов.

Но этот новый порядок еще не построен, а только строится. И строится он в борьбе с природой и в борьбе с людьми — с теми, которым выгодно старое.

Борьба с людьми идет и в пустыне. Бывшие ханы, старшины и беки хотят вернуть себе власть, которую отняла у них революция.

Всеми средствами противятся они работе, которую затеяли в пустыне новые хозяева. Много раз пытались они помешать перестройке пустыни, нападая на наших строителей и ученых-исследователей.

Еще совсем недавно — в 1926 году — вооруженный отряд басмачей напал на экспедицию Академии наук. Экспедиция пришла в Кара-Кумы для того, чтобы изучить законы движения и самозарастания песков. Это было на караванной дороге. Пятьдесят вооруженных всадников окружили ученых, отняли у них лошадей и верблюдов, тюки с провиантом и оружием, вдребезги разбили барометры и теодолиты, в клочки разорвали карты, разбросали по песку коллекции трав.

И этот случай не единственный.

Борьба с теми, кому выгоден старый порядок, еще не окончена.

Вся наша страна борется и будет бороться против господства человека над человеком, против господства природы над людьми.

В этой великой борьбе перестройка пустыни — только одно из сражений.

КТО ПОСТРОИЛ ПУСТЫНЮ И КТО ЕЕ ПЕРЕСТРОИТ?

Кто построил пустыню?

Строили пустыню горы — дали материал для постройки, камень.

Строило солнце — ломало камень, превращало его в песок.

Реки уносили песок в долины.

Ветер собирал песок в песчаные волны — барханы.

Растения скрепляли песок корнями.

Животные рыли лапами норы в песке, вспахивали почву копытами.

Строил пустыню человек — приходил со стадами, освобождал пески, выпускал их на волю.

Вот кто строил пустыню.

А кто ее перестроит?

Перестроят пустыню горы — дадут воду для орошения песков.

Солнце заставит работать насосы, будет качать воду.

Реки понесут воду по полям и садам.

Ветер отгонит пески от полей, поможет солнцу работать.

Растения остановят пески, дадут корм стадам и хлеб людям.

Животные дадут людям еду и одежду.

Но главный строитель — человек. Это он заставит и горы, и солнце, и реки, и ветер, и растения, и животных перестраивать пустыню. А перестраивая пустыню, он перестроит и самого себя.

КОНСТАНТИН ЗОЛОТОВСКИЙ

ВОДОЛАЗЫ

АВТОЛИТОГРАФИИ Г. ШЕВЯКОВА

I

„АФРИКА“

Кораблеустройству и судоподъему учил нас в Кронштадтской школе старый водолаз Рымков. Лет двадцать провел Рымков на дне морей. Был он для нас живой книгой морских историй. Помнил Рымков, как в Японском море погибал «Варяг». А когда в бою крейсер «Аврора» получил в борт пробоину и в матросские кубрики хлынула горькосоленая вода, послали нашего Рымкова спасать корабль. Волны швыряли водолаза и стукали медной головой о борт, до-смерти тошнило его от бросков, от душного запаха резины, пока он добирался к пробоине. Пробоина оказалась большая, ее рваные края торчали зазубринами. Вода кипела и перла в черную дыру, будто хотела затащить вместе с собой водолаза.

Рымков ухватился покрепче за оттяжку, спущенную с борта, и дал сигнал:

— Подавайте пластырь.

Спустили к нему с палубы огромное, квадратное брезентовое полотнище.

Залепил Рымков пробоину пластырем, обтянул цепями, остановил течь.

Крейсер выравнялся и, поплескивая водой в междудонных отсеках, пришел с командой в порт.

Пока мы учились в Кронштадтской школе, Рымков рассказал нам много таких историй.

Однажды после занятий пошли мы с ним в военную гавань. Есть там место, где у берега лежат старые миноносцы и мониторы, отслужившие свой срок дряхлые крейсера, разбитые буксиры, катера, минзаги, облупившиеся царские яхты. Растопырили ребра мертвые тральщики со сломанными мачтами, смятыми трубами и позеленевшими медными кнехтами, которые блестели когда-то как золотые. Это место напоминало развороченное кладбище. Оно и на самом деле зовется «корабельным кладбищем».

Рымков знал все эти корабли — помнил, где и когда они строились, кто на них плавал. На борту одного корабля мы прочитали медную надпись: «АФРИКА».

— Что за «Африка»? — спрашиваем у Рымкова.

— «Африка» — водолазный корабль-школа. Всякий старый водолаз знает «Африку». Я тоже учился на ней, — сказал Рымков и отколупнул ногтем потрескавшуюся краску с борта.

Мы так и уставились на эту плавучую школу. Рымков начал рассказывать.

На «Африке», кроме кочегара и машиниста, все были водолазы: и матросы — водолазы и командиры — водолазы. Служил тогда с нами водолазный офицер Стручков. Был он под водой трус, а на борту — дракон: прижимал рядовых водолазов.

А я интересовался в ту пору корабельным делом. Сидел раз под полубаком, вот тут, — Рымков показал на место у кнехтов, — сидел и читал толстую книгу — «Кораблеустройство» Черкасова и Гельмерсена. И так зачитался я, что и не заметил, как подкатился Стручков и — рраз у меня книгу из рук.

— Ты что, в саду на скамеечке прохлаждаешься, что ли?— говорит. — Марш на камбуз картошку чистить!

Я точно горькую пилюлю проглотил — стою.

— М-м-м-марш!

Пошел я на камбуз. Гнилую картошку чистить.

Хлебали мы в те дни, когда дежурил Стручков, всякую бурду. Матросскими харчами он не интересовался, наводил экономию для своего офицерского камбуза.

Ну вот, накормили нас как-то в стручковский день такой дрянью, что меня стало корежить, а как раз моя очередь в воду спускаться.

Прежде чем к врачу итти, полагалось у нас доложить дежурному офицеру. Подошел я к Стручкову. Корчит меня, будто ножом режет, а я стою, руки по швам.

— Господин... дежурный офицер... во... до... лазный ученик Рымков... просит...

Стручков прищурился, да как закричит:

— С кем говоришь, сукин сын?!

Я только глаза вытаращил.

А он бесится, ногами топает.

— Честь... честь...

Вспомнил я тут, что под козырек не взял, да уж было поздно. Размахнулся Стручков и бац меня в зубы.

Помутилось у меня в голове — закачались перед глазами штурманская рубка, мачты, труба. Я — бряк на палубу.

Стащили меня в лазарет, а оттуда прямо на гауптвахту препроводили.

Вот какой он был, лейтенант Стручков.

Водолазы давно его отблагодарить хотели. Старички, что перед нами в запас ушли, даже специальный наказ нам на этот счет оставили: проучите, дескать, его где-нибудь под водой.

Ну, конечно, под водой, а не на борту. А то тронь офицера — сразу военный суд и расстрел.

Вот мы и устроили заговор — вечером перед пятницей. А пятница был у нас день спусков без телефона.

Спустилось нас человек десять с пяти ботов. А саженях

в двадцати офицеры спускаются со своег офицерского баркаса.

Разбрелись мы по дну.

Сначала держались все десять вместе, а потом, чтобы не путать сигналы да шланги и чтобы унтера с ботов ничего не заметили, разбились на две кучки.

Минаев с шестью водолазами влево, а я с Бурундуковым и еще с одним парнем вправо.

В воде не разберешь, где офицер, а где рядовой водолаз — скафандра у всех одинаковая. К шлему кокарды не прицепишь, к водолазной рубахе погон не пришьешь. Вот мы, рядовые, и сговорились подымать при встрече руку, чтобы своего от офицера отличить.

Шагаем... Вдруг, глядим — впереди водолаз. Мы остановились. Бурундуков шагнул к нему навстречу и поднял руку. Встречный водолаз руки не поднимает. Значит, офицер. Уж не Стручков ли?

Заглянул Бурундуков офицеру в иллюминатор и враз отвернулся, чтобы тот его узнать не успел. А потом прислонил свой шлем к моему и кричит:

— Не Стручков это, а мичман Чумиченко. Шагай дальше!

Двинули мы дальше. Идем, идем — нет никого. Одни окуньки шныряют. А офицеров не видать. Скоро шланги и сигналы кончатся. Что за чертовщина? Куда они делись? Не вышли ли уже наверх? Забеспокоился я и вдруг чуть не столкнулся с водолазом шлем в шлем. Не успел я даже в стекло ему заглянуть, как он шарахнулся и зашагал в сторону. Ковыляет по грунту неровно — не идет, не плывет, не пляшет. Сразу видать — водолаз неважный. Уж не Стручков ли? Догнал я его и поднял руку. Он стал, а руки не поднимает, только золотником бурлит, воздух в воду выпускает. Ясно, офицер. Подошел я к нему и посмотрел в боковое стекло его шлема.

Стручков!

Только он свой иллюминатор ко мне повернул, чтоб меня разглядеть, как я раскачал ногу и грох его свинцовым ботинком в зад. Он так и подскочил на метр от грунта, как мяч.

Вижу — за сигнальную веревку хватается.

Вырвал тут Бурундуков у него веревку и сигнал за него наверх подал: «Все, дескать, благополучно, чувствую себя на грунте вполне хорошо».

А тут уж другие наши ребята подоспели. Надвинулись на Стручкова, шлемами об его шлем стукают. Кричи и вой, Стручков, сколько влезет, наверху тебя не услышат! Пятница сегодня, бестелефонный день.

Обступили водолазы Стручкова со всех сторон.

Заметался он в воде, а хода ему нет: он вправо, а я его влево. Он влево, а я его вправо, он вверх, а я его вниз. И так его все время поворачиваю, что он меня разглядеть не успевает.

До тех пор сапогами его бил, пока рубаха на нем от воздуха не раздулась. Это он с перепугу на золотник нажимать забыл.

Надулась у Стручкова рубаха воздухом. А бить по наполненному костюму все равно что о резиновую подушку. Сапоги только отскакивают.

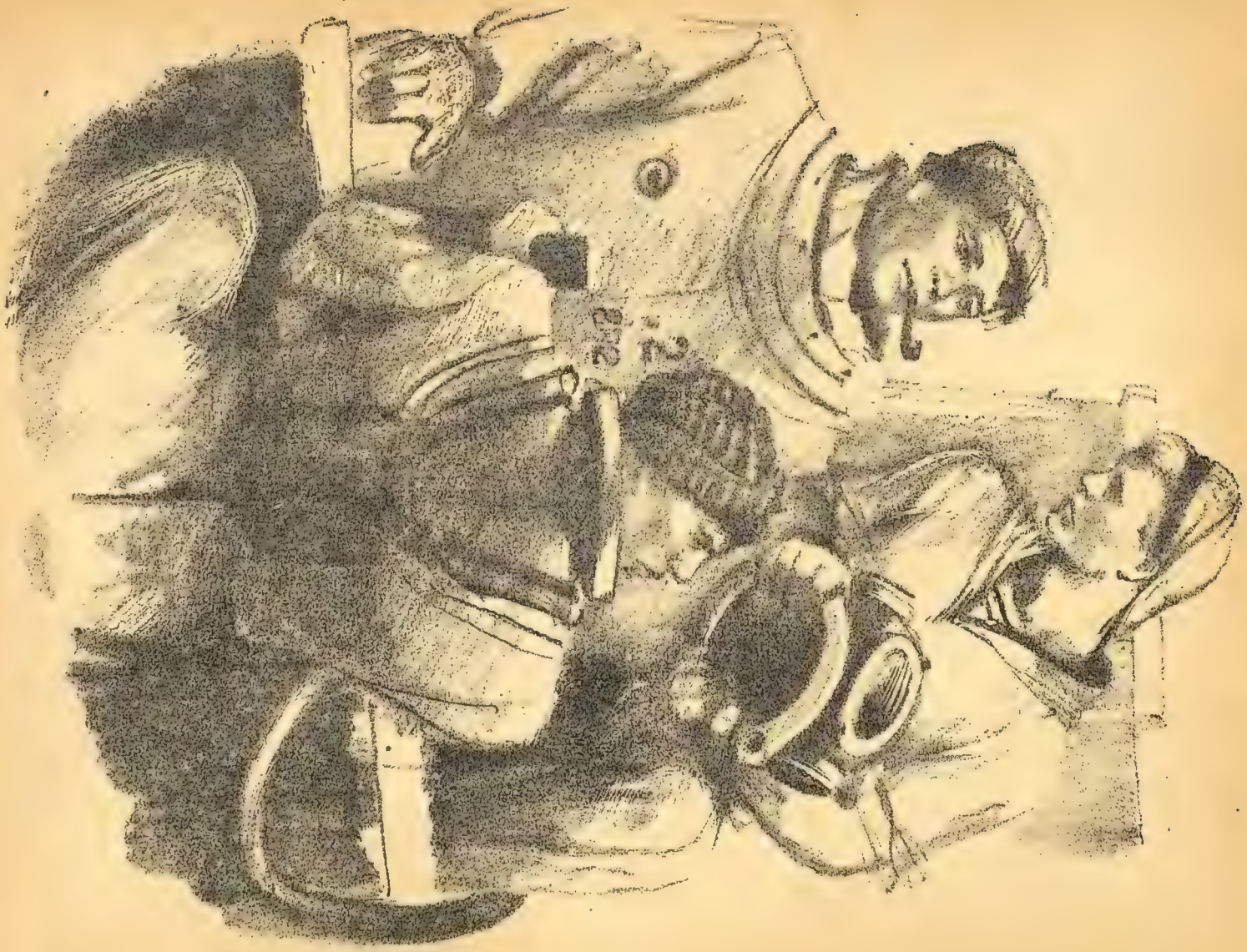
Твое счастье, Стручков!

Бросили мы его — и каждый к своему боту заторопился.

Выхожу я из воды на трап, а сам на офицерский баркас посматриваю — подымают ли. Нет, еще не подымают.

Стали меня раздевать. Свинтили иллюминатор. Слышу — у офицеров шум, крик. А когда с меня шлем сняли, я обернулся и вижу: на баркасе Стручков, как чурка, валяется, а перед ним на коленях водолазный врач стоит. Тут же рядом офицеры, в кружок собрались, руками размахивают, — видно, совещаются, стоит ли поднимать дело, или не стоит. Без последствий оставить неловко, — все ж таки офицера вздули. А кто вздул — не узнаешь. На дне — не на верхней палубе.

С тех пор нашего лейтенанта Стручкова точно подменили,—



тихонький по «Африке» гуляет. Забегает на камбуз, справляется:

— Что готовите нынче водолазикам? Приготовьте, мол, чего-нибудь повкуснее.

Надолго ли Стручков утихомирился, я, впрочем, сказать не могу. Может, когда синяки с него сошли, он опять драконом обернулся. Кто его знает? После того случая нас всех десятерых на разные корабли списали. Меня на «Днестр» в Черноморский.

Так я и не видел больше Стручкова до самого прошлого года. А в прошлом году встретился я с ним. И подумайте — где? Не то, что под водой, но и не на суше.

В бане.

Вижу, ковыляет мимо меня старичок с шайкой. Смотрю я на него и думаю: что-то походка знакомая. Как у нас, водолазов, говорят: не идет, не плывет, не пляшет.

Батюшки, да это Стручков!

Какое у него теперь социальное положение — не угадаешь.

В бане, как под водой, — костюмы у всех одинаковые.

Подошел я к нему и спрашиваю:

— Вы, — говорю, — Стручков?

— Стручков, — говорит.

— На «Африке» служили?

— Мало ли где служил, — отвечает. — Всего не припомнишь.

— А меня, Рымкова, помните?

— Не помню.

— Водолазного ученика Рымкова, которому вы морду набили, не помните?

— Не помню...

Тут меня зло взяло. Нагнулся я к нему и спрашиваю:

— А как водолазы вас на грунте сапогами лупили, тоже не помните?

— Это помню, — говорит.

II

ПОД МИНОНОСЦЕМ

В Черном море у берегов Кавказа с 1919 года лежал на дне миноносец со всеми торпедами и орудиями. Эпрон долго разыскивал его. И наконец нашел.

Глубина двадцать саженей. Спустили водолаза Кравцова.

На баркасе с далекого дна услышали мы в телефон:

— Я на миноносце.

Отвечаем:

— Осмотри, попробуй грунт. Посылаем лом и лопату.

Одели меня. Взял я лопату и лом, намотал на руку конец веревки от буйка.

В поле отмечают места вешками, а в море буйками. Это поплавки такие. Когда доберусь до миноносца, привяжу к нему конец веревки, чтобы по буйку легко было найти миноносец.

Медленно погрузился я в воду. В ушах тихонько похлопывает. Под мышкой у меня лом и лопата. Над головой вьется веревка от буйка, а рядом змеятся воздушный шланг и сигнал. Шагах в десяти в белесом тумане тянется кверху такой же шланг и сигнал Кравцова. Сам он где-то далеко подо мной. А со всех сторон и вверху над головой, и внизу под ногами — колышутся волнистые медузы, бледные и рыхлые как студень. То сжимаются, то разжимаются.

Скоро ли грунт? Гляжу себе под ноги. Что это там растянулось? Скала или туша морского животного? Миноносец! Длинный он какой! Перевернут вверх днищем. Киль гребнем стоит от носа до кормы. А над миноносцем шляются головастые бычки, красноперые ерши, и пляшут все те же молочные медузы.

Стукнули мои подошвы о стальной киль корабля. Я ухватился за корпус. Большой рак, жесткий и серый, пополз от меня вниз по ржавой обшивке.

Скользят мои руки, сдирают налету мох и ракушки с крутого бока миноносца.

Вдруг лом и лопата вырвались у меня из подмышки, прозвенели по борту и стукнулись о грунт. За ними и сам я до грунта доехал. Ищу лом и лопату, а найти не могу.

Поднялась со дна сизая муть, встала перед круглыми стеклами, — будто я ослеп. А когда муть осела и вокруг прояснилось, увидел я шагах в пяти Кравцова. Идет он ко мне. Прислонили мы шлем к шлему. Через медные стенки голос мой как в пустом доме гремит:

— Ваня, назначаю тебя командиром миноносца. Переверни и командуй.

Кравцов грохочет в ответ. Это он смеется.

— Сам попробуй — переверни. Я тебя за это старшим коком назначу. А пока что давай-ка лом.

Протягиваю лом, а мимо нас и между нами рыбьи стада проходят — кузовки с поросячьими рылами, длинные рыбы вроде кочерги и маленькие вроде окурка. Не только не боятся нас, а даже внимания не обращают.

Подошли мы с Кравцовым к миноносцу. Я привязываю к медному клапану веревку от буйка, а Кравцов рядом грунт пробует. Но лом его только гудит, а не роет. Песок с глиной сбился в крепкий цемент. Бросил Кравцов лом.

— Крепкий здесь грунт, — говорит, — целой пятилетки на долбежку нехватит.

В это время дернулся у него сигнал, — наверх его позвали.

— Адью, — говорит Кравцов. Взял он лом и лопату подмышку и стал медленно подыматься.

Видно было, как он перебирает ногами, будто пляшет налету. Вот, думаю, и я такой же, если на меня снизу глядеть.

Выше и выше улетает Кравцов Я голову задрал. Вижу, далеко, как в тумане, уплывают свинцовые подошвы его ботинок.

Ну, сейчас, думаю, и меня потянут.

И верно. Слышу в телефон:

— Выходи.

Стал я подниматься так же, как и Кравцов. Только смотрели на меня одни бычки да раки. Поднялся я на поверхность, взошел на баркас. Смотрю, Кравцов уже докладывает инженеру, а инженер записывает, чертит, подсчитывает.

— Ну, товарищи, я уже поднял миноносец... пока что, понятно, на бумаге, — говорит инженер и показывает водолазам чертежик. — Видите? Прорем под миноносцем три туннеля насквозь, пропустим через них стальные полотенца, а к полотенцам прикрепим понтоны. Понтоны всплывут и вздернут миноносец кверху. Рыть туннели, конечно, будем не лопатой, не ломом, а машиной — центробежкой.

На завтрашний день принялись мы за работу.

Среди моря покачивается круглый, рыжий буек, наша водолазная заметка над миноносцем. Рядом стоит вспомогательное судно. На борту вспомогательного судна центробежка с двумя толстыми шлангами. У одного на конце медная пипка, у другого — железная круглая решетка. Первым шлангом машина гонит воду, другим — сосет. Центробежка может пустить такую струю воды, что перевернет десятипудовые камни, разворотит деревянный дом. А сосать примется — гору песку за час проглотит.

Вот она у нас и заработала. Разогнала на дне всех рыб и крабов. Одним горлом песок сосет, по другому горлу гонит воду на дно.

А на дне стоит водолаз и направляет шланг с пипкой под миноносец, роет твердой струей туннель. Глубже и глубже подкапывается под корпус миноносца.

Работаем мы поочереди несколько дней подряд. Уже промыли туннель саженей в десять.

Пришла моя очередь в воду лезть. Спустился я на дно, а водолаз, что до меня на грунте был, наверх вышел.

Вижу — темное отверстие в песке под миноносцем. Это и есть туннель. У отверстия вьется, осаживаясь, серо-желтая муть. Подождал я, пока муть осела, и нашел два толстых шланга от центробежки. Они уходили в туннель.

Я согнулся и стал пробираться под миноносцем. Рукой нащупал палубный люк и стальной выступ торпедного аппарата. Верх моего шлема звякнул о дуло пушки. Еще шаг — и я уперся в глухую стену грунта. До этого места, значит, прорыли, а мне дальше прорывать.

Взял я шланг с пипкой, а шланг с решеткой оставил сзади. Промою сажень, думаю, а потом другой шланг возьму и буду отсасывать песок.

Кричу в телефон:

— Дайте воду в шланг.

На баркасе Кравцов сидит с телефонными наушниками. Он отвечает:

— Сейчас дадим.

Стою я в туннеле согнувшись, держу в руках шланг, как винтовку, и жду. Пока полная тишина, только шикает воздух у меня в шлеме. Но вот тряхнуло в руках шланг, и ударила из него струя. Зашумел песок. Заскрежетали ракушки. Шаг за шагом подвигаюсь вперед. Еще сажени полторы пройти — и выберусь на ту сторону миноносца.

Бьет струя, шуршит песок, верещат ракушки. Я зарываюсь все глубже. Работаю. А песок обваливается и обваливается. Стало мне тесно в моей норе. Пора остановиться и отсосать песок другим шлангом. А то, чего доброго, засыплет.

Бросил я шланг, а из него струя так и прет. Шагнул назад. Стоп. Прохода нет. Завалило. Кругом завалило.

Хочу пробиться обратно, а шланг и сигнал меня крепко держат, не дают мне шагу ступить. Придавило их грунтом.

Кричу в телефон:

— Перестаньте гнать воду. Отсасывайте песок!

Прикладываю ухо к холодному кружку телефона. Слушаю, — не отвечают.

Снова кричу сильно и громко, — нет ответа. Только струя из пипки как живая по дну хлещет.

Понял я: где-то в туннеле мой телефонный провод задел за что-то острое, за выступ торпедный или за крышку люка, — мало ли там железа торчит? Порвался мой телефон. А песок все забивает проход, заваливает мне ноги. Не вырваться никуда из песка.

Сел я и подумал: ох, и далеко же я забрался. Сижу в песчаной норе, под ржавой тысячепудовой мышеловкой, а сверху надо мной все Черное море стоит. И куда только человека не занесет? Сам в могилу залез, под железный памятник.

И вдруг совсем тихо стало.

Перестал шипеть в шлеме воздух. Что это, — они качать бросили, или шланг песком придавило? Вот сейчас задыхаться начну. Стало душно как в сундуке. Сам слышу, как легкие мои хрипят.

Каюк...

Откопали меня товарищи. Вернее сказать, отмыли. Хоть и был я от них в двадцати саженях под водой, под миноносцем, а они все-таки во-время узнали, что мне дышать нечем. На манометр взглянули и говорят:

— Стрелка прыгнула на 30, а нужно только 20. Ясно, с водолазом несчастье. Стоп центробежку. Привернуть два запасных шланга. Кравцов и Трудов — в воду.

Спустились водолазы под миноносец. Видят — туннель завален. Сообразили, что я внутри похоронен. Принялись с двух сторон штурмовать шлангами. Скоро разрыли мою могилу и меня наверх вытащили.

А через месяц и железный мой памятник со дна подняли — миноносец.

Отремонтировали и его и меня. Он больше на дно не садился, а я опять по дну топаю.

III

ШОРОХ

Осень. По Неве скользят льдины. Со Второй ленинградской водопроводной станции к нам звонят по телефону:

— Вышлите ваших водолазов на водопроводную станцию.

— Есть.

Сказано — сделано. Мы берем с собой помпу, груза, шлемы, ботинки, шланги и едем на Вторую водопроводную.

В залах станции стучат машины, жужжат электрические моторы, а посредине колодец. Мы оглядываемся по сторонам и соображаем: где же тут поставить помпу?

А инженер зовет нас дальше, наверх. Рабочие подхватывают наш водолазный багаж и тащат по высокой лестнице с площадки на площадку.

Вот мы и на третьем этаже.

И здесь тоже, как в нижних этажах, по самой середине — широкий колодец.

Зачем это колодец в доме? Во всех трех этажах колодцы? Понятно, не для купанья. Это фабрика чистой воды. В каждом из колодцев — по фильтру.

Невскую воду, которая попадает на водопроводную станцию по трубам, здесь три раза чистят, процеживают, фильтруют.

Из последнего колодца вода бежит совсем уже чистая. Бежит на заводы, в столовые, в квартиры.

Вот почему в этих колодцах настоящий водоворот. Вода в них ни на секунду не успокаивается, крутится, клокочет не переставая, будто в колодце волчок запустили. Это фильтры работают.

А сейчас вода спокойна, неподвижна. На дне какая-то неисправность. Надо посмотреть, в чем дело, и починить повреждение. Мы с Зубарем одеваем Орлова, а здешние рабочие принимаются качать помпу.

Одевать водолаза для нас дело привычное. Одевали мы товарищей и на баркасе, и на берегу, и на льду, а вот в комнате, да еще на третьем этаже — не приходилось.

— Эй, ты, глубоководник, ныряй в первый этаж,— говорим мы Орлову и шлепаем его по макушке шлема.

Орлов спускается в колодец. Вот он уже стучит ключом и кувалдочкой на дне. Проходит минут двадцать.

Вдруг тихо внизу стало — ключ больше не брякает. Значит, кончил работу Орлов. Так и есть — вылезает он по лесенке, кивает водопроводному инженеру головой — исправил, дескать. А с самого вода так и льет струями на асфальтовый пол. Шагает водолаз по комнате, а по всему зданию гул стоит от его свинцовых подошв.

Начинаем собирать снаряжение, чтобы домой ехать, а инженер говорит нам:

— Погодите, товарищи, еще для вас дело найдется: насос в Неве не работает, проверить надо.

— Есть.

Спустились мы в нижний этаж, а оттуда поволокли помпу на невский берег.

По Неве скользят льдины. А у берега уже саженей пять затянуло тонкой коркой льда.

Оделся я. Взял в руки лом.

— Бери и другой, — говорит Орлов.

— Зачем? — спрашиваю.

— Пригодится.

Взял я и второй лом.

Закачали помпу рабочие. Посвечивают мне с берега фонарями.

Стекла моего иллюминатора сразу запотели от дыхания. Протер я их носом и спустился по лесенке. Тонкий лед так и разошелся, расплылся подо мной, и я погрузился в воду.

Наверху уже сумерки — часов семь вечера, а здесь — совсем ночь. Плавает надо мной лед, будто салфеткой меня покрывает.

Шагнул я по дну раза два и наступил на трубу. Брякнула она у меня под ботинком. Я пригнулся, ухватился за трубу и пополз вдоль нее, перебирая руками, в глубь реки.

Валит меня течением, так и норовит отбросить от трубы. А мимо иллюминатора моего белые льдинки проносятся.

Мимо — это бы еще ничего, а то они и по рукам меня колотят, и по спине, и по плечам, и по шлему барабанят.

Этот мелкий, пловучий лед называется «шорох». Он всегда появляется перед замерзанием Невы.

Надоел мне проклятый «шорох». Будь у меня руки свободны, я бы кое-как отбивался от него, отгребал бы его прочь от себя. А что поделаешь, когда в руках у меня ломы? Сдуру я не один, а целых два с собой потащил.

Лезу наощупь по трубе, лезу, лезу, лезу — конца-краю трубе нет.

«Какой же она длины? — думаю. — Никогда такой трубы не видал».

И вдруг нащупал руками насос. Кончилась, значит, труба.

Ну, и толчея же на этом месте! Бесится вода, бегает вокруг насоса, как голодная кошка вокруг мышеловки, так и шуршит льдом.

Приподнялся я и потрогал рукавицей решетку насоса, а на решетке целая ледяная подушка наросла.

Понял я теперь, почему через эту трубу вода на водопроводную станцию не идет. Сжал в руке обледенелый лом, да изо всей силы как тюкну по ледяной покрышке. Раз, еще раз!

И вдруг меня дернуло и потянуло вместе с ломом к насосу.

Это в насос вода поперла. Сам-то я успел во-время назад податься, а лом у меня из руки так и вырвало и унесло в трубу

Протянул было я за ним руку, — чуть руку к решетке не припечатало.

А лед еще не весь был сколот. Хорошо, что у меня другой лом про запас оказался. Счистил я всю ледяную корку с решетки — и скорей к берегу. А то минуту или две я бы еще, пожалуй, продержался, а потом стукнуло бы меня головой о решетку, и присосался бы я к насосу, как пьявка. Так бы приклеился, что никакими сигналами меня не оторвать.

Назад к берегу лез я по старому пути — по трубе. Только в руках у меня было теперь уже не два лома, а один.

У берега дал я сигнал:

— Выбирайте! Иду!

Потянули меня наверх. Пробил я шлемом тонкую ледяную скорлупу и вылупился, как двенадцатипудовый цыпленок.

Сквозь стекла ударили мне в глаза красные лучи фонарей с трапа. Выбрался я и отдал товарищу лом.

— Спасибо, — говорю, — пригодился.

— А у нас уж вода полным ходом идет, — говорит водопроводный инженер. — Быстро вы там дело сделали!

Киваю я инженеру головой, а потом осторожно спрашиваю:

— А лом-то мой бед у вас еще не натворил?

— Какой лом?

— А тот, что у меня в трубу унесло.

— Ничего, — говорит инженер, — мы его отфильтруем!

IV

„САДКО“

Ни в Черном море, ни в Азовском, ни в Каспии не встречал я цветных медуз. Все были прозрачные, студенистые и молочные. Яркая, цветная медуза водится на Севере.

Когда плыл я Белым морем на подъем затонувшего ледокола «Садко», увидел я с борта, как поднимается из синей глубины яркий комок. Так и переливается огненно-кровяным светом.

— Гляди, какие тут медузы занятные, — сказал мне товарищ.

Одна, другая, третья. Я глядел на них и оторваться не мог. А потом привык. За полярным кругом, где мы работали, таких кровавых медуз великое множество.

Да что медузы!

В первый раз, когда я спустился с баркаса на ледокол, показалось мне, что подо мной не дно морское, а настоящий сад.

Прозрачная вода в глубине моря увеличивает все, что кругом видишь, — листья у растений огромные и качаются будто перед самым твоим иллюминатором.

Ухватился я рукой за никкелированный поручень капитанского мостика, стравил золотником воздух и опустился на палубу.

Со времен царской войны лежит здесь «Садко».

Пятнадцать лет никто не тревожил старый ледокол, пока мы, советские водолазы, не получили распоряжение начать судоподъем.

Каждый день спускаемся для подготовки водолазных работ.

Сегодня моя очередь.

Шагаю я по палубе ледокола. Легко мне шагать, так и понесся бы вперед, если бы не шланг и сигнал. Того и гляди зацепятся они за что-нибудь, а ты потом возвращайся и распутывай.

Перелетаю через огромное, зияющее отверстие трюма одним прыжком, — воздуха вдоволь дает моторный компрессор с баркаса, умей только распоряжаться им для дыханья, для ходьбы, для работы...

По всей палубе, на капитанском мостике, на медных, позеленевших поручнях, на раструбах вентиляторов — везде рассыпаны морские звезды, крупные, мелкие, красные, желтые, коричневые.

С дверей капитанской каюты снял я прилипшую к косяку большую розовую звезду. Она медленно повела своими пятью лучами и опустилась на морскую лилию. Плохие пловцы звезды. Потому и налипли везде, где только можно уцепиться.

У трюма росли лапчатые лилии в мой рост, пучковые водоросли, водоросли вроде гороха.

Позже я узнал, что этот морской горох зовут «тура», — им кормят с подболткой муки свиней в рыбачьих поселках Белого моря.

У спардека сорвал я подводный виноград, но это не виноград, а иодное растение. Так сказал мне наш водолазный врач.

Часто мелькали мимо меня маленькие, на больших крыльях, рыбки.

У бортов распустились губки, как огромные маки. Но только дотронулся я до одной, чтобы сорвать, — она сжалась в комок.

Со спардека сошел я по заросшему зеленым мхом трапу. Давно по этим ступеням не ступали матросские сапоги.

Из чащи водорослей прямо на меня глянула острая мордочка длинной рыбки. Я, как ручную, вытащил ее за хвостик, а она выскользнула и юркнула в другие водоросли. Водорослевая рыбка.

Так пробирался я среди диковинных губок, звезд, лилий, будто по тропическому лесу, а было это на дне холодного, полярного моря.

Вижу — дверь каюты на правом борту.

Взялся я за ручку двери, — медная круглая ручка так у меня в кулаке и осталась. Набухла деревянная дверь, не удалось мне попасть в каюту.

В другой каюте дверь была приоткрыта.

Я нагнулся и протиснулся внутрь. Там было темно, едва пропускали подводный свет заросшие иллюминаторы. Я содрал со стекол мох, одно окошко открылось совсем, и в каюте стало чуть-чуть светлее.

По стенкам я увидел большие ящики.

Для чего они?

Никак я не мог припомнить, что за каюта должна быть на правом борту.

Открыл один из ящиков и залез рукой в его темное нутро. На ладони у меня загорелась целая пригоршня огоньков. Посыпались огоньки из ящика по всей каюте. Я снова пошарил и снова вытащил с десяток огней. Так набрал горстей пять. Больше огоньков в ящике не было, — будто почернел ящик.

Вечером на берегу спросил я у водолаза, что за огоньки такие.

Наш водолазный инструктор рассказал мне, что есть в море такие мелкие подводные животные, вроде черноморских ночесветок. Светятся они в темноте как лампа, потому что в них много фосфору.

Выбрался я из каюты и пошел дальше. И вдруг попал в целую заросль лилий.

Смотрю — одна коричневая лилия будто движется. Я нагнулся, схватил ее рукой, — а это морской кот запрятался в лилиях. Он широкий, бокастый, и хвост у него длинный, вертлявый, с колючкой посередине вроде ножика.

Резанул он меня по пальцу своей колючкой. Я посмотрел на руку через стекло, а из пальца, будто темно-красный дым, кровь курится.

Рядом стояло заржавленное ведро. Я рассердился и стал запихивать в него морского кота. Он два раза вырывался и мутил воду, а все-таки я его туда загнал. Сверху бросил губку, звезду и до самых краев набил ведро лилиями.

Не удерет теперь морской разбойник.

Ведро привязал я к концу, спущенному с баркаса. А когда кончил работу на корабле и поднялся на баркас, вслед за мной и ведро подняли.

— Ну, — говорю товарищам, — посмотрите, кого я на корабле поймал.

Вытащил из ведра охапку помятых лилий, потом вытащил звезду, потом губку, а морского кота в ведре не оказалось.

Удрал по дороге дьяволенок.

М. БРОНШТЕЙН

СОЛНЕЧНОЕ ВЕЩЕСТВО

1

Есть в природе такой газ — гелий. Он имеет свою историю, и эта история необычайна.

Началась она семьдесят пять лет тому назад. В 1859 году Кирхгоф и Бунзен стали вместе изучать лучи света, испускаемые светящимися телами.

Кирхгоф был физик, а Бунзен — химик. Они изучали лучи пламени, лучи электрической искры, лучи раскаленных паров разных солей, лучи раскаленных и расплавленных металлов.

Их интересовали спектры этих лучей.

Что такое спектр солнца, известно всем, кто видел, как солнечный луч «разлагается на семь цветов радуги». Если через узкую щель впустить в темную комнату луч солнца и поставить на пути этого луча стеклянный клин, то на противоположную белую стену ляжет разноцветная полоса света. И сколько раз мы ни повторяли бы этот опыт — порядок цветов в полосе будет всегда один и тот же: красный, за ним оранжевый, потом желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Эта разноцветная полоса и есть солнечный спектр.

Кирхгоф и Бунзен тоже пустили в ход стеклянный клин. Но только вместо солнечных лучей они стали разлагать в спектр лучи различных светящихся тел.

Этот простой опыт повел к великому множеству открытий. Об открытиях Кирхгофа и Бунзена можно было бы написать

целую книгу. Но для истории гелия изо всех их открытий важно только одно: когда стеклянный клин разлагает лучи света, испускаемые каким-либо светящимся газом, — получается спектр, непохожий на солнечный. В спектре солнца все семь цветов радуги, от красного до фиолетового, ложатся сплошным рядом, а в спектре светящихся газов Кирхгоф и Бунзен увидели разрозненные цветные линии. В спектре раскаленных паров металла к а л и я горят две красные линии и одну фиолетовую, у паров н а т р и я только одна линия — желтая, [1] у паров меди — много линий, среди которых ярче всех три зеленые, две желтые и две оранжевые. И каждая цветная линия появляется всякий раз на том месте, где в солнечном спектре лежит цвет точно такого же оттенка. Оранжевые линии меди ложатся в оранжевой части спектра, желтая линия натрия — в желтой.

Когда Кирхгоф и Бунзен закончили свои опыты, они поняли, что нашли ключ к разгадке химического состава любого пламени, любого светящегося газа. Не нужно химического анализа, чтобы узнать, есть ли в пламени натрий. Достаточно увидеть его желтую линию в том месте спектра, где ей полагается быть, и натрий будет сразу обнаружен. Если в спектре у вас две красные и одна фиолетовая линия, — вы можете быть уверены, что в пламени есть калий. А если в спектре красная линия, зелено-голубая и синяя, то значит в пламени есть водород.

Поставьте на пути лучей стеклянный клин — и линии спектра безошибочно расскажут вам о химическом составе любого светящегося тела.

Такой способ угадывать химический состав пламени по линиям спектра был назван спектральным анализом.

---

[1] И изучив эту желтую линию, физики в конце концов обнаружили, что на самом деле она состоит из двух очень близко расположенных друг к другу желтых линий. Эти линии получили у физиков особые названия: их называют линиями D_1 и D_2.

Кирхгоф и Бунзен построили специальный прибор для того, чтобы производить спектральный анализ. Этот прибор называется «спектроскоп». Самая важная часть спектроскопа — простой стеклянный клин, в котором луч света разлагается в спектр.

2

Прибор Кирхгофа и Бунзена пригодился и физикам, и химикам, и даже инженерам. Но больше всего понадобился он людям, которые изучают самые далекие светящиеся тела — планеты и звезды. Рукою звезду не схватишь, в колбу ее не посадишь. До изобретения спектроскопа никто и мечтать не смел о том, что когда-нибудь нам станет известно, из каких веществ состоят звезды, планеты и солнце. Никто не знал, входят ли в состав небесных светил те же самые вещества, которые мы встречаем и у себя на земле, или же небесные светила состоят из особенных, таинственных небесных веществ.

И только открытие Кирхгофа и Бунзена помогло людям затащить звезды в лабораторию, создать новую науку — небесную химию, химию небесных светил.

Астрономы всего мира с жадностью набросились на спектральный анализ и стали применять его в самых разнообразных исследованиях. Здесь нехватит места рассказать обо всех тех удивительных вещах, которые были открыты с помощью спектрального анализа. Для этого тоже нужно написать целую книгу. Только об одном открытии мы расскажем здесь — о том открытии, с которого начинается история гелия.

3

Во время полного солнечного затмения, когда все солнце закрыто от нас луной, из-за черного диска луны внезапно вырываются красные язычки пламени. Язычки кажутся нам

маленькими, а на самом деле их высота во много раз больше диаметра нашей земли.

Это извержения и взрывы на огненной поверхности солнца.

Такие взрывы бывают на солнце каждый день и по многу раз в день. Но простым глазом их можно видеть только во время полного солнечного затмения, когда лучезарный диск закрыт луной и потому не ослепляет нас.

Удивительно, что астрономы заметили эти огненные взрывы, выступающие из-за края луны, всего только лет семьдесят пять тому назад. Ведь полные затмения солнца бывают чуть ли не каждый год — то в одной, то в другой части земного шара, и каждый раз можно наблюдать солнечные выступы. Астрономы попросту их проглядели. Затмение длится всего несколько минут, а то и секунд, и за эти секунды надо столько записать, зарисовать, измерить! Все внимание астронома-наблюдателя поглощено лихорадочной работой, и часто волнение мешает ему видеть вещи, которые он не рассчитывал увидеть.

А, может быть, астрономы и видели эти взрывы, но считали их просто обманом зрения.

Как бы то ни было, 18 июля 1860 года, когда полное солнечное затмение наблюдалось в Испании, астрономы, съехавшиеся туда со всех концов Европы, наконец-то заметили солнечные выступы и даже успели их нарисовать. Тогда только ученые всего мира заговорили о солнечных выступах и стали наперебой высказывать различные догадки об их природе и происхождении.

Через восемь лет после испанского затмения, 18 августа 1868 года, ожидали полного солнечного затмения в Индии. Французский астроном Жансен решил воспользоваться этим затмением, чтобы изучить спектр солнечных выступов. Взяв с собой спектроскоп Кирхгофа и Бунзена, он отправился в

далекое морское путешествие. Он поспел во-время. В тот момент, когда затмение наступило и красные языки вырвались из-за черного лунного диска, Жансен навел на них трубу спектроскопа. Он увидел яркие цветные линии — спектр тех раскаленных газов и паров, которые извергает солнце.

Линии были такие яркие, что у Жансена мелькнула мысль: а нельзя ли увидеть их и без затмения, при полном блеске солнца?

На другой день, когда солнце как ни в чем не бывало выкатилось из-за горизонта и поднялось над пальмами и пагодами, Жансен навел щель спектроскопа на самый край солнца. Он сделал это так осторожно и так искусно, что лучи солнечного диска шли мимо спектроскопа, а в щель попадали только лучи солнечных выступов.

Глядя в спектроскоп, Жансен убедился, что его вчерашняя догадка правильна. В спектроскопе были те самые цветные линии, которые он видел накануне, — линии спектра солнечных выступов.

А если так — Жансен мог решить свою задачу безо всякого затмения. К чему же было ездить в Индию?

И правда, не к чему: английский астроном Локайер, сидя у себя в Англии и ничего не зная о Жансене, сделал то же открытие, что и Жансен, и сообщил о нем по почте в Парижскую академию наук.

Академия получила в один день два письма: одно от Жансена, другое от Локайера. В обоих говорилось о спектре солнечных выступов.

Это странное совпадение так поразило тогдашнее французское правительство, что оно приказало выбить специальную медаль в честь открытия спектра солнечных выступов. На одной стороне медали был портрет Жансена, а на другой — портрет Локайера.

4

Оба астронома, и Жансен и Локайер, обнаружили в спектре солнечных выступов яркие линии водорода: красную, зеленоголубую и синюю.

Но, кроме этих трех линий, в спектре оказалась еще одна линия — желтая. Что значит эта линия, ни Жансен, ни Локайер никак не могли понять. Она расположена довольно близко от того места спектра, где должна была бы лежать желтая линия натрия. Близко, но не совсем там, — значит, это не натрий.

Но и другие вещества, известные химикам того времени, тоже не могли дать эту спектральную линию.

Что же это за линия? Жансен и Локайер решили, что неизвестная линия, которую они назвали D_3, принадлежит какому-то особому небесному веществу. Очевидно, на земле этого вещества нет, оно имеется только на солнце, за полтораста миллионов километров от нас.

И Локайер придумал для нового, найденного на солнце вещества солнечное название: гелий. По-гречески «гелиос» значит солнце.

Вещество было названо, но о свойствах его не было известно ничего. Астрономы высказывали только догадку, что гелий, вероятно, какой-то очень легкий газ. Ведь когда на солнечной поверхности происходят извержения, то восходящий поток газов захватывает и уносит на огромную высоту только самые легкие вещества.

5

История гелия началась на небе, а через два десятилетия неожиданно спустилась на землю.

В 1893 году английский физик Джон Вильям Рэлей предпринял точное измерение веса различных газов. В первую

очередь он стал взвешивать те газы, с которыми наука больше всего и раньше всего имела дело: водород, кислород и азот.

Для чего понадобилась эта работа? Разве водород, кислород и азот не были взвешены и до Рэлея? Да, вес этих газов был давно известен, но Рэлей захотел взвесить их точнее, чем их взвешивали раньше. В конце прошлого века физики уже не довольствовались грубыми приборами старинных лабораторий. Им потребовались точные цифры, точные знания о свойствах вещей. Новыми, более тонкими и чуткими приборами физики стали заново измерять плотности тел, температуры плавления и кипения, оптические, химические и электрические свойства.

Джон Вильям Рэлей вооружился самыми точными весами, какие были в его лаборатории, и принялся за работу. Сперва он добыл и взвесил литр водорода, потом литр кислорода. Когда очередь дошла до азота, он накачал в стеклянный шар несколько литров воздуха и очистил его от кислорода. В стеклянном шаре остался азот. Рэлей взвесил его и записал точный вес.

Но это еще было не все. Осторожный физик привык проверять каждый свой опыт различными способами.

Рэлей снова добыл азот, — на этот раз не из воздуха, а из другого газа — аммиака. И тут обнаружилась странная вещь: литр азота, добытый из аммиака, оказался на 6 миллиграммов легче, чем литр азота, добытый из воздуха.[1] На целых шесть миллиграммов!

Шесть миллиграммов — вес небольшой. Это вес мухи.

Но один литр азота не должен быть легче другого литра азота даже и на одну десятую часть миллиграмма.

---

[1] Заметим: когда физики говорят о том, сколько весит литр какого-нибудь газа, они всегда подразумевают, что этот газ берется при температуре ноль градусов и при нормальном давлении. (Нормальное давление — это такое давление, при котором барометр показывает 760 миллиметров.)

Рэлей снова взвесил азот воздуха и азот аммиака, и его точные весы снова показали ту же разницу — шесть миллиграммов.

Литр «воздушного азота» весил 1,2565 грамма.

Литр «аммиачного азота» — 1,2507 грамма.

Разница ничтожная. Начинается она всего только с тысячных долей, с третьей цифры после запятой.

Но один литр азота ни в коем случае не должен быть легче другого литра азота даже и на тысячную долю.

Значит, тут кроется какая-то тайна.

6

Рэлей решил обсудить это дело со своим приятелем, профессором химии Вильямом Рэмзеем. Они долго спорили друг с другом о причинах непонятного расхождения в 6 миллиграммов. Наконец Рэмзею пришла в голову смелая догадка: а что если азот, добытый из воздуха, — не чистый азот? Надо бы узнать, нет ли в нем какой-нибудь неожиданной примеси, какого-нибудь тяжелого газа, который и дает эти лишние шесть миллиграммов.

Но как это узнать?

А вот как: если примесь в самом деле имеется, нужно во что бы то ни стало разлучить ее с азотом.

Рэлей и Рэмзей заперлись в своих лабораториях и стали порознь решать задачу: как извлечь из азота спрятанную в нем примесь? Они условились не выходить из лабораторий до тех пор, пока неизвестная примесь не будет выделена. А для того, чтобы каждый знал, как идут дела у другого, они ежедневно обменивались через посыльного письмами и протоколами своих опытов.

Рэлей взял стеклянный баллон и впаял в него две проволоки. Внутри баллона между концами проволок оставалось расстояние в несколько сантиметров. Наружные концы про-

волок торчали из баллона и были соединены с высоковольтным трансформатором.

Когда будет включено электрическое напряжение, — внутри баллона, с кончика одной проволоки на кончик другой, через маленький промежуток в несколько сантиметров, поскачут электрические искры.

Рэлей накачал в баллон азота и кислорода, а потом стал вгонять туда насосом раствор едкого натра. Едкий натр фонтаном врывался в баллон и вытекал из него по особой стеклянной трубочке, припаянной к баллону.

В то же время Рэлей включил электрическое напряжение.

Посыпались искры, и под действием этих искр азот стал вступать в химическое соединение с кислородом. Рэлею только этого и надо было: он знал, что едва лишь азот соединится с кислородом, его можно будет выгнать из баллона с помощью едкого натра. Едкий натр поглощает соединение азота с кислородом.

И в самом деле: через несколько часов весь азот, который был в баллоне, соединился с кислородом и ушел из баллона прочь вместе со струей едкого натра.

Азот ушел из баллона, но баллон не совсем опустел. В нем остался какой-то газ, — очевидно, тот самый подмешанный к азоту газ, которого так упорно искали Рэлей и Рэмзей.

Этот газ не соединяется с кислородом, не растворяется в едком натре. Потому-то он и остался в баллоне.

Рэлей тщательно просушил и профильтровал новый газ, продувая его через фарфоровую трубку с горячими медными опилками. Горячие медные опилки очистили газ от того небольшого количества кислорода, которое все еще в нем оставалась.

Так Рэлей решил свою задачу — выделил неизвестный газ, подмешанный к азоту.

А как решил ту же задачу Рэмзей?

Он поступил проще: в трубочку из тугоплавкого стекла он насыпал кусочки магния.

Трубочку засунул в электрическую печку. Когда печка нагрелась, кусочки магния раскалились докрасна.

Тогда Рэмзей взял насос и стал гонять взад и вперед по этой трубочке азот, добытый из воздуха.

Раскаленный магний — это ловушка для азота. Магний впитывает в себя азот.

Десять дней подряд гонял Рэмзей по трубочке азот. Наконец весь азот был поглощен раскаленным магнием.

Но в трубочке остался какой-то газ, который ни за что не соглашался соединяться с магнием.

Задача была решена.

Рэлей в Рэмзей шли разными путями, но пришли к одной и той же цели. Неизвестный газ был пойман, выделен, очищен и заперт в стеклянный баллон.

7

Рэлей и Рэмзей сейчас же принялись изучать новооткрытый газ и были очень удивлены, когда обнаружили, что он отказывается соединяться не только с кислородом и с магнием, но и с какими бы то ни было другими веществами.

Ученые никогда еще не встречали газа, обладающего таким странным свойством. Рэлей и Рэмзей придумали для него название «аргон». По-гречески это значит «ленивый».

В августе 1894 года в старинном университетском городке Оксфорде состоялся съезд английских физиков, химиков и естествоиспытателей. На этом-то съезде Рэлей и Рэмзей впервые рассказали о своем открытии. Их доклад вызвал удивление и недоверие. Еще бы! Каждый школьник знает, что воздух состоит из кислорода и азота. Так написано во всех учебниках. А Рэлей и Рэмзей решаются утверждать, что в каждом литре воздуха, самого обыкновенного воздуха, того воздуха,

которым мы дышим, — есть еще девять кубических сантиметров нового, не замеченного химиками газа.

Но в ответ на все возражения Рэлей и Рэмзей продемонстрировали перед съездом те самые опыты, которые привели их к открытию аргона. Съезду пришлось поверить в аргон.

Спустя несколько месяцев Рэмзей рылся на досуге в старых книгах по химии. Перелистывая толстый том «Записок Королевского Общества», он неожиданно наткнулся на описание опыта, проделанного за сто лет до открытия аргона.

В конце восемнадцатого века жил в Лондоне ученый химик, которого звали Генри Кэвендиш. Это был нелюдимый и одинокий человек. Он появлялся на улицах с узловатой палкой, в длинном дедовском сюртуке и в широкополой шляпе. О его странностях и причудах по городу ходило множество слухов и басен. Передавали, будто по целым дням он не разговаривает ни с кем, кроме своей кухарки, да и с кухаркой разговоры у него немногословные: на ее вопрос: «Что прикажете купить к обеду, сэр?» — он неизменно отвечает: «баранью лопатку», и больше за целый день не произносит ни слова. Еще рассказывали, что Кэвендиш устроил у себя в доме научную библиотеку и открыл в нее доступ всем, кто пожелает ею пользоваться. Каждый посетитель может унести к себе домой любую книгу, оставив хозяину расписку. И говорили, будто сам Кэвендиш так строго и точно соблюдает установленные им в библиотеке порядки, что всякий раз, когда ему случается взять книгу из собственного книжного шкапа, он выдает себе расписку: «Такого-то числа такую-то книгу взял у Генри Кэвендиша Генри Кэвендиш».

Чудак Кэвендиш давно умер. Люди забыли его широкополую шляпу, его сюртук и его причуды. Но ученые всего мира помнят, что Генри Кэвендиш первый открыл, из чего состоит вода, и первый вычислил, сколько весит земной шар. А в 1785 году, изучая химические свойства азота, он про-

делал тот же самый опыт, который помог Джону Рэлею открыть аргон.

При помощи электрической искры он тоже соединил с кислородом азот, добытый им из воздуха. Он тоже обнаружил крохотный пузырек газа, который не хотел соединяться с кислородом.

Генри Кэвендиш по своему обыкновению точно записал все подробности опыта. Не забыл он упомянуть и о крошечном пузырьке.

Генри Кэвендиш держал аргон в руках, но аргон остался неоткрытым.

У Кэвендиша не было тех чувствительных и тонких приборов, которыми через сто лет пользовались Рэлей и Рэмзей. У Кэвендиша не было точных весов.

Открытие аргона в конце девятнадцатого века — это была победа точности, победа третьей цифры после запятой.

Это была победа весов.

8

Однажды утром в феврале 1895 года Рэмзей получил письмо от знакомого химика, Генри Майерса.

Майерс писал, что в одном из старых номеров американского геологического журнала была помещена интересная статья, на которую теперь, после открытия аргона, следовало бы обратить внимание.

Автор статьи утверждает, что некоторые очень редкие минералы обладают замечательным свойством. Если их кипятить в серной кислоте, они выделяют какой-то газ, который не поддерживает горения и сам не горит, — повидимому, азот. Один из минералов, выделяющих такой негорючий газ, — это клевеит. Он был найден в Норвегии знаменитым полярным путешественником Норденшельдом, который обнаружил черные зернышки и прожилки клевеита в некоторых горных породах.

«Быть может, — писал Майерс, — газ, полученный из клевеита, совсем не азот, а аргон?»

Рэмзей прочел письмо и сразу взялся за дело. Он позвал мальчика, прислуживавшего в лаборатории, и велел ему достать как можно больше клевеита. Мальчик обошел все химические магазины Лондона и к полудню принес Рэмзею один грамм клевеита. Он истратил на это 3 шиллинга и 6 пенсов.

Рэмзей приступил к опыту. Он стал прогревать кусочек клевеита в пробирке с серной кислотой и уже к вечеру того же дня извлек несколько кубических сантиметров газа.

Четыре дня ушло на то, чтобы очистить газ от тех примесей, которые легко соединяются с другими веществами. Примесей было немного — бо́льшая часть газа ни с чем не хотела соединяться.

Очищенный от примесей газ Рэмзей ввел в стеклянную трубочку для наблюдения спектра.

Эта трубочка по середине очень узка, а у краев пошире. С обоих концов в нее впаяны платиновые проволочки. Когда нужно изучить спектр какого-нибудь газа, этим газом наполняют трубочку и запаивают ее. Затем по платиновым проволочкам через трубочку пропускают ток. В самом узком месте трубочки газ начинает ярко светиться, и тогда с помощью спектроскопа можно рассмотреть его спектр.

Рэмзей прекрасно знал, какой у аргона спектр. В этом спектре должны ярко светиться красные и зеленые линии.

Но у того газа, который вышел из клевеита при нагревании, линии были иные: желтая линия и несколько слабых линий других цветов.

В первую минуту Рэмзей был готов подумать, что эта желтая линия есть линия натрия. Уж не попал ли каким-нибудь образом натрий в спектроскопическую трубочку? Может быть, на платиновых проволочках оказалась какая-нибудь грязь,

в которой был натрий? Но ведь спектроскопическую трубочку Рэмзей приготовил собственными руками, а у него не было привычки брать для работы грязные платиновые проволочки. В чем же тут дело?

Наконец Рэмзей сообразил, как проверить — вполне ли совпадает эта желтая линия с желтой линией натрия, или, может быть, она только очень близко к ней расположена.

Для проверки он нарочно ввел в трубочку немножко натрия, снова запаял ее и снова принялся рассматривать спектр.

Прежняя желтая линия осталась на месте, но рядом с ней появилась другая, — на этот раз настоящая линия натрия.

Теперь уж больше не оставалось ни малейших сомнений в том, что первая желтая линия идет не от натрия, а от какого-то другого вещества. Но от какого?

Рэмзей перебрал в памяти спектры всех известных ему веществ, но не мог припомнить ничего подходящего. После долгих поисков и размышлений он вспомнил о той желтой линии D_3, которую открыли Жансен и Локайер 30 лет назад. Уж не та ли это линия? По своему расположению в спектре она как будто совпадает с неизвестной желтой линией. А если это так, то газ, выходящий из клевеита, это не азот, не аргон, а солнечный газ — гелий.

У Рэмзея не было приборов, чтобы точно определить положение линии в спектре. Поэтому он послал пузырек с новым газом лондонскому физику Вильяму Круксу, одному из лучших тогдашних специалистов по спектроскопии. Осторожный в своих научных выводах, Рэмзей утаил от Крукса предположение, что найденный им газ есть гелий. Он написал только, что нашел какой-то новый газ, который предлагает называть «криптоном», и просит Крукса тщательно определить положение всех линий в спектре нового газа.

Крукс ввел полученный от Рэмзея «криптон» в спектроскопическую трубочку.

И вот в спектроскопе вспыхнула та самая желтая линия гелия, которую Жансен и Локайер нашли в спектре солнечных выступов.

Значит, в присланном от Рэмзея пузырьке находится то самое таинственное вещество, которого не держал в руках ни один человек на земле.

Крукс послал Рэмзею городскую телеграмму. В ней было всего несколько слов:

Crypton is Helium. Come and see it. Crookes.

По-русски это означает: «Криптон это гелий. Приезжайте посмотреть. Крукс».

Так был найден на земле гелий, найденный на солнце за 27 лет перед тем.

Рэмзей немедленно приехал и вместе с Круксом занялся подробным изучением спектра гелия. Кроме желтой линии D_3, они обнаружили в спектре гелия еще пять линий — две красные, одну зеленую, одну синюю и одну фиолетовую. Эти линии гелия не были замечены учеными в спектре солнечных выступов потому, что там они горят недостаточно ярко. Гелий, найденный на земле, дал ученым возможность полнее и подробнее рассмотреть его спектр.

После точных измерений Крукса уже нельзя было сомневаться, что найденный Рэмзеем газ есть действительно гелий.

23 марта 1895 года Рэмзей решился опубликовать свое открытие. Он написал письмо известному французскому химику, академику Бертело с просьбой сообщить Парижской академии наук об открытии гелия на земле.

В истории открытий бывают странные совпадения. Через две недели после Рэмзея другой химик, швед Ланглэ, тоже добыл гелий из клевеита и сообщил о своем открытии тому же академику Бертело. Письмо его было помечено 8 апреля 1895 года.

9

Как только Рэмзей добыл из клевеита гелий, он сейчас же стал проделывать с гелием всевозможные опыты. Ведь он был первый из химиков на свете, которому представилась такая возможность.

Солнечный гелий нельзя было взвесить на весах. Астрономы только догадывались, что это один из самых легких газов. Рэмзей взвесил гелий. Оказалось, что астрономы были правы. Гелий действительно очень легкий газ. Изо всех газов один только водород легче гелия, а все другие газы тяжелее. Воздух тяжелее гелия почти в семь раз.

Потом Рэмзей решил узнать, может ли гелий вступать в химические соединения с какими-нибудь другими веществами.

Он перепробовал множество различных веществ, но ни с одним из них гелий не хотел соединяться.

Значит, гелий такой же ленивый газ, как и аргон.

А если так, то не следует ли поискать его в воздухе? Ведь газ, не желающий химически соединяться с другими веществами, неминуемо должен проникнуть в воздух. Даже если он находится в недрах земли, в горных породах, то и тогда он проберется в атмосферу по трещинкам и порам.

А в таком случае примесь гелия должна оказаться и в том аргоне, который добыт из атмосферы. Гелий ленивый газ, как и аргон. Значит, если удалить из воздуха азот и кислород, гелий не присоединится к ним, не уйдет вместе с ними, а останется с аргоном.

Рэмзей добыл из воздуха 15 литров аргона и принялся охлаждать его холодильной машиной.

В каждой хорошо оборудованной лаборатории вы можете увидеть холодильную машину. Эта машина производит мороз в 200 градусов ниже нуля. Для того, чтобы аргон превратился в жидкость, а потом и замерз, двухсотградусного мо-

роза совершенно достаточно: аргон замерзает при 186 градусах ниже нуля.

План у Рэмзея был такой: заморозить аргон, а потом исследовать, какие газы будут выделяться из замерзшего аргона при испарении. Если в аргоне есть несколько примесей, то они уйдут из него не все сразу, а по очереди: первой уйдет та, которая легче всего испаряется, за нею другие примеси, которые испаряются медленнее.

Таким способом можно отделить все примеси друг от друга.

Целых три года изучал Рэмзей состав аргона, добытого из воздуха. Он охлаждал газ своей холодильной машиной, а когда газ замерзал — выпаривал его, очищал, взвешивал на точных весах. Наконец работа была окончена.

Что же оказалось? Оказалось, что догадка Рэмзея правильна. Гелий действительно содержится в воздухе. В каждом литре воздуха целых 5 кубических миллиметров таинственного солнечного газа. Вместе с воздухом он окружает нас со всех сторон и входит в наши легкие.

Через несколько лет Рэмзею как-то пришлось читать публичную лекцию. Излагая историю своего открытия, он сказал: «Поиски гелия напоминают мне поиски очков, которые старый профессор ищет на ковре, на столе, под газетами и находит наконец у себя на носу. Гелий очень долго искали. А он был в воздухе!»

10

Когда-то, до Рэлея и Рэмзея, ученые считали, что воздух состоит только из кислорода и азота. Потом был открыт аргон. Потом гелий. И вместе с гелием было открыто еще несколько газов, входящих в состав воздуха.

Случилось это так. Работая три года над изучением замерзшего аргона, Рэмзей обнаружил в нем не только гелий.

Он нашел и другие ленивые газы. К каждому литру воздуха подмешано, кроме аргона и гелия, 18 кубических миллиметров неона, 1 кубический миллиметр криптона, одна десятая кубического миллиметра ксенона.

Неон по-гречески значит — новый, криптон — скрытый, ксенон — чуждый. Криптоном Рэмзей когда-то собирался назвать гелий, но так как у гелия уже было то имя, которое дал ему в свое время астроном Локайер, имя «криптон» пригодилось для другого газа.

Гелий, аргон, неон, криптон, ксенон — всё это ленивые газы. Целая компания лентяев! И всех их Рэмзей выделил из воздуха, очистил и изучил. Он изучил их спектры, измерил их плотности, температуры замерзания и кипения.

В первое время эти ленивые газы были большой редкостью в лабораториях. Очень немногие химики могли похвастаться тем, что видели собственными глазами хотя бы крохотный пузырек неона или гелия. А криптон и ксенон еще и в наше время редко можно найти в химической лаборатории, несмотря на то, что после их открытия прошло уже 36 лет. И это понятно: на литр воздуха приходится криптона всего только 1 кубический миллиметр, а ксенона еще того меньше. И добыть их из воздуха очень трудно.

Только аргон и неон давно перестали быть редкостью. Их добывают из воздуха на химических заводах.

Всем, кто бывал в большом городе, случалось видеть электрическую рекламу.

В окнах больших магазинов, на вывесках кинематографов — горят узоры и надписи, составленные из стеклянных светящихся трубок.

Знаете ли вы, что светится в этих трубках? Трубка, горящая синим светом, наполнена аргоном; трубка, дающая красновато-оранжевый свет, — неоном.

Это те самые газы, которые добыл из воздуха профессор

Рэмзей. Светятся они потому, что через них проходит электрический ток.

11

Итак, гелий был найден трижды: сначала в солнечных выступах, потом в клевеите и наконец в воздухе. Но ученые на этом не остановились.

Если гелий содержится в клевеите, то почему бы ему не встречаться и в других минералах? Химики принялись исследовать минералы, и вскоре гелий был найден в ураните, фергусоните, монаците.

Но больше всего гелия оказалось в одном минерале, который добывают на острове Цейлоне. Называется этот минерал — торианит. Если килограмм торианита раскалить докрасна, то он отдаст около десяти литров гелия.

После того, как было выяснено, в каких минералах имеется гелий, а в каких его нет, химики перешли к исследованию ключей и источников. Рэмзей нашел гелий в воде одного целебного источника в Пиренейских горах, а Рэлей обнаружил его в водах, бьющих из-под земли в известном английском курорте Бат.

Нет такого вещества, в котором химики не искали бы гелия, аргона и других ленивых газов. Одному физику даже пришла в голову мысль поискать эти газы в растениях и животных. Он растолок горох и подверг исследованию его химический состав — нет ли в горохе гелия? Потом он захлороформировал двух мышей, а когда они умерли — высушил их тела в электрической печке, тоже растолок в порошок и занялся изучением порошка — нет ли в мышах гелия?

Но самый тщательный химический анализ не мог обнаружить в мышах ни гелия, ни аргона.

В 1902 году в окрестностях города Декстер в штате Техас искатели нефти обнаружили в земле трещину, из которой

сильной струей бил какой-то газ. Газовые фонтаны — явление довольно обычное в тех местах, где в земле имеется нефть (например, у нас на Апшеронском полуострове, на Кубани и т. д.).

Но такие газы обыкновенно легко воспламеняются, а газ, который бил из трещины в Декстере, не хотел гореть.

Через несколько лет жители городка догадались послать найденный газ на исследование двум химикам, Кэди и Макфарланду. Кэди и Макфарланд исследовали газ и обнаружили, что полтора процента в нем — гелий.

С тех пор и во многих других местах, богатых нефтью, химики не раз находили гелий в составе бьющих из-под земли газов.

Но долгие годы никому не приходило в голову использовать гелий для практических надобностей, и потому люди не уделяли достаточного внимания газам, содержащим гелий.

12

Осенью 1914 года в северной Франции шли ожесточенные бои. Французы, англичане и бельгийцы медленно отступали под напором германских армий.

Однажды на рассвете английские сторожевые самолеты заметили в небе германский цеппелин, который плыл прямо на них, очевидно, направляясь к Парижу. О появлении цеппелина летчики немедленно донесли в штаб, и английская зенитная артиллерия встретила неприятельский воздушный корабль зажигательными снарядами.

Зажигательные снаряды — это самое верное средство истребления дирижаблей. Как только такой снаряд попадет в оболочку дирижабля — водород, которым наполнена оболочка, мгновенно вспыхивает, и дирижабль сгорает как солома. Из ста двадцати трех цеппелинов, построенных в Германии во время мировой войны, сорок погибло от зажигательных снарядов.

Но на этот раз цеппелин не сгорел. Снаряд пробил прорезиненную ткань оболочки, а дирижабль только повернулся в воздухе и, медленно истекая газом, поплыл обратно.

Англичане недоумевали. Водород — горючий газ, водород воспламеняется от малейшей искры. Что же произошло? Отчего водород не вспыхнул? Военные специалисты долго обсуждали удивительное происшествие, но никто не мог догадаться, в чем дело.

Загадка оставалась загадкой.

Наконец британское адмиралтейство получило письмо от одного химика, которому удалось найти решение этой головоломки.

«Я полагаю, — писал он, — что немцы изобрели какой-то способ добывать в большом количестве гелий, и на этот раз наполнили оболочку своего цеппелина не водородом, как обычно, а гелием. Опыты Рэмзея показали, что гелий очень легкий газ, всего лишь в два раза тяжелее водорода. Значит, дирижабль, наполненный гелием, мало чем уступит в подъемной силе дирижаблю, наполненному водородом. [1] А в других отношениях гелий имеет огромные преимущества перед водо-

---

[1] Многие читатели, вероятно, сочтут это рассуждение неправильным. Может ли быть, что подъемная сила гелия всего на несколько процентов меньше подъемной силы водорода? Ведь гелий тяжелее водорода в два раза.

Но проделаем математический расчет.

Известно, что водород в четырнадцать с половиной раз легче, чем воздух. Предположим, что мы наполнили оболочку дирижабля водородом такого же давления и такой же температуры, как окружающий воздух. Примем вес этого количества водорода за единицу. Тогда вес водорода будет притягивать его к земле с силой, которая равна 1. А окружающий воздух по закону Архимеда будет выталкивать тот же самый водород вверх с силой, равной $14\frac{1}{2}$ (весу вытесненного воздуха). Останется в результате подъемная сила $14\frac{1}{2} - 1 = 13\frac{1}{2}$.

Если же наполнить тот же самый дирижабль не водородом, а гелием, то вес его будет равен не 1, а 2. Сила же, с которой окружающий воздух стремится вытолкнуть дирижабль вверх, попрежнему равна $14\frac{1}{2}$. Значит, подъемная сила будет равна $14\frac{1}{2} - 2 = 12\frac{1}{2}$, т. е. на 1 меньше, чем $13\frac{1}{2}$. А 1 составляет всего только 8% от $13\frac{1}{2}$. Поэтому подъемная сила гелия всего только на 8% меньше подъемной силы водорода.

родом. Ведь гелий — «ленивый» газ; он не соединяется ни с какими другими веществами. Значит, он загореться не может. В этом-то и заключается преимущество гелия перед водородом, который охотно присоединяет к себе кислород и легко воспламеняется».

Доводы ученого убедили британское адмиралтейство. Адмиралтейство сразу же обратилось к химикам и геологам Англии и английских владений — Канады, Австралии, Новой Зеландии — с предложением немедленно приступить к самым тщательным поискам природных источников гелия. Гелий приобрел неожиданную ценность. За гелием охотились. Наконец канадскому физику Мак Леннану, исследовавшему различные нефтяные газы в Канаде, посчастливилось найти в них гелий. В 1918 году по поручению британского адмиралтейства он построил небольшой опытный завод вблизи города Гамильтона (Онтарио, Канада) для добычи гелия из природных газов. Несколько тысяч кубических метров гелия уже были готовы к отправке в Европу, когда война неожиданно прекратилась, и гелий оказался ненужен.

Только в 1930 году англичане впервые наполнили дирижабль гелием. Это был дирижабль «R-100».

Он вылетел из Англии в Канаду наполненный водородом, а вернулся оттуда наполненный гелием.

Канада и до сего времени остается единственным источником гелия для английского воздушного флота. Сколько именно гелия добывается в Канаде, англичане тщательно скрывают. Известно только, что большинство английских дирижаблей до сих пор наполнено водородом, — значит, гелия в Канаде не очень много.

А много ли гелия в других странах?

В большинстве государств гелия нет совсем. Особенно озабочены отсутствием гелия немцы и японцы. Японцы пробовали было добывать гелий из монацитовых песков в провин-

циях Секидамеи и Исикава, но скоро оставили эту невыгодную затею. Для наполнения гелием большого современного воздушного судна надо переработать больше миллиона тонн монацитового песка. [1]

У немцев во время войны, как об этом правильно догадался английский химик, действительно был свой гелий. Они нашли его в воде минерального источника в курорте Наухейм. Из этого источника немцы ежедневно добывали 70 кубических метров гелия. Это составляет всего 25 тысяч кубометров в год. А на большой современный дирижабль требуется не меньше 100 тысяч кубометров.

Гелия для военных дирижаблей нехватало. А к концу войны и наухеймский источник иссяк. С тех пор у немцев больше нет своего гелия.

Не испытывают недостатка в гелии только Соединенные Штаты Америки. Это единственное в мире государство, обильное природными источниками гелия. Но добывать этот гелий для наполнения дирижаблей американцы принялись лишь после того, как вступили в войну с Германией. Еще в 1916 году во всех американских лабораториях, вместе взятых, не было даже и одной десятой части кубического метра гелия. Гелий можно было купить только в самых ничтожных количествах по баснословной цене: двести тысяч золотых рублей за кубический метр. Только в 1917 году, после вступления Америки в войну, был построен завод для добычи гелия в городе Форт-Уорс в штате Канзас. Но война очень скоро прекратилась. Американцы, как и англичане, не успели воспользоваться гелием для военных

[1] Японские профессора химии Танака и Нагаи, отчаявшись в возможности достать для японских дирижаблей гелий, пошли по совершенно другому пути. Они стали думать — нельзя ли прибавить к водороду такую примесь, чтобы он сделался невоспламеняемым? С помощью примесей им действительно удалось сфабриковать несгораемый водород. Но оказалось, что подъемная сила несгораемого водорода на несколько процентов меньше, чем подъемная сила гелия. Поэтому такой несгораемый водород (химики называют его «флегматизованным» водородом) мало пригоден для дирижаблей.

целей. И все-таки они продолжали добывать его. В 1925 году добыча гелия в Форт-Уорсе дошла уже до миллиона кубических футов в месяц. В 1928 году американцы наполнили гелием дирижабль «Шенандоа», и этот дирижабль некоторое время был единственным в мире гелиевым воздушным судном. Для его наполнения понадобилось 55 тысяч кубических метров гелия. В 1929 году в штатах Техас, Юта и Колорадо нашли бьющие из-под земли газы, еще более богатые гелием, чем газы в Канзасе. Тогда был устроен второй гелиевый завод в городе Амарильо в Техасе. Маленький городок получил прозвище «гелиевой столицы мира» — в нем ежегодно добывают полмиллиона кубических метров гелия.

Теперь в Соединенных Штатах есть уже несколько гелиевых заводов; из них часть принадлежит государству, а другая часть фирме «Компания гелия». Кубический метр гелия в Соединенных Штатах можно теперь купить всего лишь за два-три рубля золотом (кубический метр водорода стоит 18 копеек). Соединенные Штаты добывают гелия гораздо больше, чем требуется его для американского воздушного флота. Гелием наполнены огромные пассажирские дирижабли «Мэкон» (185 тысяч кубических метров»), «Лос Анджелес» (70 тысяч кубических метров) и все мелкие военные дирижабли.

Гелий — идеальный газ для дирижаблей. Он нужен не только военным дирижаблям, но и коммерческим воздушным кораблям — водород ненадежен, он всегда может вспыхнуть от удара молнии.

Хотя у Соединенных Штатов гелий имеется в избытке, американское правительство до самого последнего времени строго запрещало вывозить его в другие страны — оно боялось, что гелием будут наполнять чужие военные дирижабли. Только в редких, исключительных случаях американское правительство разрешало отпускать небольшое количество гелия иностранным ученым для лабораторных работ. Впрочем, недавно

американское правительство разрешило «Компании гелия» продать Германии значительное количество гелия (полтораста тысяч кубических метров) для наполнения огромного цеппелина «LZ-129», постройка которого была закончена в мае 1934 года. Однако и теперь еще для вывоза гелия из Соединенных Штатов каждый раз требуется специальное разрешение правительства.

История гелия полна неожиданностей.

Впервые его открыл астроном Жансен во время солнечного затмения; великий химик Рамзей нашел его в горной породе и в воздухе; немецкие инженеры наполнили им боевой цеппелин. А в наше время предприимчивые дельцы и коммерсанты продают его на нью-иорской бирже по 6 долларов за килограмм.

НИК. ТИХОНОВ

ГОРНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

РАССКАЗ ГЕОЛОГА

АВТОЛИТОГРАФИЯ Н. ТЫРСЫ

Я по специальности геолог, искатель минералов, и толчок к этой профессии получил еще, можно сказать, в юности, и очень неожиданный. Был я совсем несведущий подросток. Сидели мы в избе у Марина старшего, народу набилось что людей, перед праздником дело было, много комсомольцев.

Входит секретарь нашего сельсовета и с ним бодрый мужчина, не первой молодости. Еремей, секретарь, и говорит:

— Ребята, дело вот какое. Привел я вам ученого человека, познакомьтесь с ним, он потолковать просит об научном деле. Прошу внимания!

Галдеж тут постепенно прекратился, и востренький этот приезжий говорит нижеследующее:

— Молодые товарищи! Я ученый, геолог, изучаю камни, минералы и тому подобное. Командировка моя кончилась, все я исполнил, что для правительства нужно было узнать, а теперь по частному моему желанию обращаюсь к вам. У вас по реке есть разные породы горные, очень мне интересные. Помогите мне. Завтра, — говорит, — у вас день отдыха, и вам работать нигде не надо. Заберите с собой самые обыкновенные молотки, у кого есть, палки, мешки, хлеба немного, картошки там, и пойдем на реку. Я вам лекцию скажу, вы узнаете о камнях разные разности, а взамен вы мне горных образчиков настукаете. Так и будет у нас союз между молодежью и наукой.

Говорил он долго и глубоко и так явственно, что нам казалось, будто мы действительно камни, о которых он говорит, руками щупаем. Разошлись мы поздно и с обязательным уговором, что завтра поутру вся наша молодая братва отправляется с ним на реку, вроде как в культурный поход.

Утром пришли мы на нашу непотревоженную реку. Рассказал ученый, какие его камни интересуют, как они выглядят, как обращаться с молотками, и все в разные стороны разбрелись. Я пошел с Ванькой Жихаревым, моим приятелем. Утро было самое завлекательное, не слишком жаркое, тихое, только вся гора на берегу от нас, тружеников добровольных, шумела.

Наололи мы с Ванькой камешков и серых, и желтых, и непонятного цвета, каких раньше и не примечали даже, сели передохнуть. Идет наш ученый, взбирается к нам, пот вытер, внимательно посмотрел и говорит мне:

— А ну-ка, пойдем со мной.

Идем мы поперек горы и слышим — наши парни песни поют. Подошли, смотрим: сидят человек пять, в одну точку смотрят, руки сложили, оставили все молотки, и очень хорошо у них песни выходят.

Хотел я их обругать, что они работу бросили, а старикан мой говорит:

— Оставь, оставь, видишь сам, из них никаких геологов не получится, пусть поют.

Идем дальше. Стучали молотки за углом, и не стучат больше. Раздвигаем кусты, — братва пригрелась под кустиками и спит себе, похрапывает.

Засмеялся ученый.

— И с этих,— говорит, — геологов не выйдет.

Дальше слышим мы шум на площадке, у самой реки. Не иначе большую глыбу ребята ворочают, а они, оказывается, борьбу между собою затеяли, возятся как медведи, пыхтят, ногами камни сшибают.

— Тут геологии и делать нечего. Тут профессора бокса какого-нибудь надо, — говорит снова без раздражения наш ученый.

Идем мы по горе дальше вверх — одни там в карты играют, другие там пляшут, третьи там сами себе анекдоты старые рассказывают. Одним словом, — выходной день вокруг, да и только.

— Не получается, — говорит ученый, — с геологией. Плохие у меня помощники, нелюбопытный молодой народ, нелюбопытный. Ну, посмотрим, пойдем, не заснул ли твой приятель тоже.

Приходим обратно — работает Ванька, как будто его к скале привязали. Нарубил выше колен всякой каменной дребедени. Я к нему присоединяюсь, беру молоток и ну долбить как дятел, но меня тут останавливает мой ученый.

— Довольно, — говорит, — это было вам всем испытание. Я хотел посмотреть, из кого геологический толк получится. Вот отбор и показал: два человека всего-навсего, вам я и скажу, в чем дело.

— А что это за камни мы такие наколупали? — спрашивает Ванька.

— Этот камень желтый, твердый, будет серный колчедан, называется пирит; мягкий — буро-серый— цинковая обманка называется; серый свинцовый так и будет свинцовый блеск, а вот эти, как у вас здесь говорят, шкварец — по-научному — кварц. Я вправду, — говорит, — хочу для себя сверх плана еще разведать по вашей реке разные породы, но для этого мне нужна лодка и два помощника. Деньги же у меня экспедиционные кончились, и осталось только двенадцать рублей, вот я и хочу достать лодку, взять продуктов и по реке пройти выше. Я нарочно испытание сделал, чтобы знать, у кого душа лежит для такого дела.

— У меня лежит, — говорю, — и у Ваньки лежит, и

лодку я знаю, где купить: дядя Кисай ее продает. Она скоро потонет вовсе, но нам хватит, я знаю. Рублей за шесть отторгуем и всю провизию наберем на остальные. Скоро ли ехать?

— Да, — говорит, — хоть завтра.

Поехали мы на лодке. Выходили на берега, искали разные породы, и это была моя первая геологическая разведка. Ученый остался нами очень доволен, записал адреса и фамилии и взял слово, что, как кончим учение в родных краях и захотим в вуз, чтоб приезжали в Ленинград, и он постарается сделать нас геологами. Но Ванька Жихарев, года не прошло, от гриппа помер, геологии только начало увидал, а у меня вышло по-другому. Пошла моя жизнь таким порядком.

Попал я в Ленинград, кончил горный техникум, стал геологом, и страсть у меня к камням и минералам развилась такая, что как весна — я уже на месте сидеть не могу, тянет меня в горы, в экспедицию, уже что-то внутри меня тревожится и под ложечкой сосет, как бы поскорей из города выбраться. Привил мне мой восторженный учитель такую страсть к геологии, что ни на какую другую науку я ее не променяю.

Иным, конечно, интересно в море плавать, рыб, ракушек, моллюсков разных со дна вытаскивать, другим с воздуха высматривать землю радостно, снимать ее планы, лесные пожары тушить, поля от вредителей освобождать, рис сеять с самолета и тому подобное, а меня занимают горы.

Как зайдешь в них поглубже, поставишь свою палатку, полезешь вокруг брошенные выработки исследовать или по уступам лазить, или карту геологическую снимать — это самая жизнь и есть! Минералы нужны Советской стране, — пожалуйста, можем минералы найти; рудник заложить — можно и рудник, — горы нам все тайны свои открывают. Воздух в горах удивительный, двигаешься из долины в долину, из ущелья в ущелье, и всю красоту свою земля показывает, ничего не прячет.

На первых порах, когда я еще неопытен был в этом деле, случаи приключались со мной замысловатые, надо сознаться. Не все сразу дается без упорства и без знания. «Полна чудес волшебница природа», как говорят мои уважаемые коллеги.

Раз было так. Маленький отряд наш кочевал в Туркестане. Я больше специалист по Туркестану. Вокруг медвежьи тропы в долине были, населения нет, работаем мы целый день, вечером собираемся и поочереди варим в котле своем плов на всю артель. Плов выходил не какой-нибудь удивительный, не столь, может, изысканный, как в городе, — повара мы больше с воображением, чем с искусством, — но зато плов обильный и сытный.

Едим мы этот самый плов медленно, наслаждаемся отдыхом, беседуем о наших трудах, и, как отвалимся от котла, мыть его никому неохота, а приводить в чистоту эту посудину надо. Один из нас был по этой части самый ленивый. Едим мы, а он подмигивает, — накануне его очередь была мыть. Кончили мы есть, он и говорит мне:

— Теперь твоя очередь, ты за всех работничек, ну-ка, потрудись перед сном.

Я удивляюсь его словам чистосердечно.

— Чего ж тут странного, — отвечаю, — что ты вчера мыл, а я сегодня буду мыть?

Тут он ухмыльнулся очень язвительно.

— Скрытой добродетелью обладаете, — говорит он мне на «вы», — даже за других работаете.

— Как это «за других»? Что ты хочешь этим сказать?

— Да что ты из меня нервного трепача строишь? Ну, каюсь, что вчера бросил котел у ручья и не мыл, спать ушел, а ты вымыл и молчишь, как святой. Подумаешь, дела!

Тут я удивился еще больше его.

— Да я из палатки вечером не выходил и у ручья вовсе не был.

— Как не был? Так это ты наверное?

Он на третьего нашего спутника нападает. Тот смеется.

— За кого меня принимаешь? Что я тебе — судомойка?

Он к четвертому. Четвертый был человек мрачный, шуток не понимал — пожал плечами: мол, никакого отношения к этому грязному котлу я не имею. Тут мы все стали блуждать в сомнениях, — кто же это котел вымыл? Посмеялись, передразнились, взял я котел и понес к ручью мыть.

Только хотел уже песку насыпать, гальки, да под быструю воду поставить, — одна каверзная мысль меня задержала. Думаю: ишь ты, сцена из мира таинственного, — проверим. Взял грязный котел с остатками плова и поставил в камни. Пришел в палатку и лег спать.

На утро пьем чай, приятель говорит:

— Чего ж ты, разиня, помыл котел да и бросил у воды?

Тут мы чуть не подрались. Пришла моя очередь недоумевать. Стали мы держать совет, рассматривать наш обычный котел как какую-нибудь историческую ценность. Так вымыт, так вычищен, блестит, будто прямо из кооператива! Видим — никто никого не обманывает, а нашлась у нас судомойка в самом деле. Решили положить котел в камни уже с общего согласия и проверить прямо в интересах науки. Я даже спал плохо, ничего не понимал. И каждый думал, что это все-таки скрытая шутка.

Бежим утром все четверо к ручью. Стоит котел на другом месте и сияет со всех щек. Что за сказки? Тогда я говорю:

— Положим еще раз его и будем караулить, кто это нашей посудой пользуется?

Ели мы в тот день прямо нервно. Понесли котел к ручью с такой осторожностью, будто это бомба, поставили на открытое место и засели в кусты. Ждали, ждали, не курили, не разговаривали, только толкали друг друга. Стоит котел как котел, и ничего вокруг него не изменяется.

Надоело двум из нас ждать, и они, тихо ворча, ползком удалились. Мы же с приятелем так долго сидели, что ноги свело, уже и у приятеля моего терпение лопаться начало. Вдруг хрустнули кусты около котла — и что же вы думаете?.. Выходит из кустов бурый маленький медвежонок. Ноги лохматые, точно он в штанах не по росту, двигается к котлу и все нюхает воздух. Добрался до котла, сел, поплевал на лапу, запустил ее в котел, вытащил сколько мог набрать рису, отскреб от стенок и жует. Прижал к себе котел, засовывает лапу и лижет. Языком шарил-шарил, чуть на голову котел не надел, сел, отдышался, когти о песок почистил, за ушами почесал, опять к котлу — и ну его отшлифовывать со всех сторон. Уж так он его лизал и с боков и внутри, — не может с котлом расстаться. Опять сел, постучал по котлу и стал с ним кататься вобнимку.

Потом отряхнулся, встал на задние ноги, отломил прут, повертел его, покусал, вроде как зубы почистил, поставил котелок в сторону, посмотрел на него и побрел к себе в кусты.

Мы чуть от хохота не умерли в тот вечер. И таскали этому Мишке каждый день котел чистить, потом его только горячей водой шпарили — и всё в порядке. А как уходили из той долины, в последний вечер оставили ему порцию специально больше обычной.

И он, как бы предчувствуя разлуку, такое с котлом выделывал тот вечер, что во сне не приснится никакому геологу. Я так хорошо представляю, как он на другой день после нашего ухода пришел искать свой котел и не нашел его, как он сначала облазил все камни, зарычал от злости, как он потом загрустил и начал хныкать и тосковать. Нам, конечно, нельзя животными всерьез заниматься. Мы, геологи, племя другой специальности, и дела наши много интереснее.

Сначала по малой опытности были со мной почти фантастические истории, но я расскажу только об одном комиче-

ском эпизоде, — увы, не к украшению моей ученой гордости. Ходил со мной тогда спутником и проводником и вроде как коллектором узбек один, Сеид. Кочевали мы с ним в местности довольно населенной. Приносит мне Сеид воды напиться. Я руку протянул к кружке, а он руку остановил.

— Ака, — сказал, — ты пей сначала глазами.

Я уже попривык к его фигурному языку, смотрю в воду и вижу: в воде что-то блестит. Стал я воду сливать, добрался до зернышка, блестящего, скользкого, как серебряной иголочки острие, поймал его. Несомненно — передо мной зернышко ртути.

— Где ты брал, Сеид?

— В арыке, там у рощи.

— Пойдем туда.

Пошли к воде. Сеид смотрит на меня с уважением: ученый человек, все знает, богатство нашел, все удивляться будут, Сеида прославлять за внимание, за ум. Я же воду беру и выше и ниже того места, где Сеид брал. Ниже если итти — ничего особого не получается. Вода желтоватая, как полагается, никакого блеска. Выше итти — ртуть присутствует. Выходит, вода какое-то ртутное месторождение размывает.

Идем мы вверх по арыку, медленно как одержимые, и ртуть нам навстречу так и выплывает.

— Ну, как, — спрашивает Сеид, — наша брала?

— Да, кажется, что брала. Дай я сяду и подумаю.

Сел я, подумал и велел Сеиду привести рабочих на другой день из кишлака, будем разрывать одно подозрительное место на берегу арыка. Молод я был, неопытен, спросить поблизости некого, по порядку работы моей как будто все делаю правильно. Утро вечера мудренее, а у нас дни так и сами делятся на две равные половины, не как у людей городских: электрическим светом мы не пользуемся, телефонов нет, позвонить знакомым нельзя, моемся не каждый день, чтобы кожа не треснула от солн-

ца, все мысли сосредоточены на работе, развлечений, кроме наблюдений природных, не полагается, — словом, одиночество строго научное и для пользы дела подходящее.

Пришли рабочие с китменями, давай рушить берег. Я командую, чтобы осторожнее. Нет, оказывается, берег ни при чем, а ртути в воде не уменьшается, даже больше ее стало. Тут я становлюсь втупик, смотрю по сторонам. Какие-то глиняные развалины вижу. Древняя глина лежит, спрессована как камень.

— Это, — говорит Сеид, — рабат, гостиница была, старая караванная дорога шла, теперь не идет. Давно шла, теперь другая сторона идет, не здесь.

Копаемся мы уже в самом арыке, и под мостиком, повидимому, такое месторождение залегло, что уже ртути, смеясь, можно на термометр набрать. Сам залез в арык в трусиках одних, тружусь и вытаскиваю в конце концов вместе с Сеидом остатки какого-то глиняного кувшина неизвестной формы, и в этих глиняных обломках действительно ртути еще достаточно. Вот тебе и месторождение!

Вылез я на берег, стал сушиться, взглянул на развалины — и все мне ясно.

— Болван ты болван, — сказал я себе, — да ведь как ты не догадался! По этой старой караванной дороге возили всякие грузы, кто-то украл, повидимому, кувшин со ртутью и закопал его у дороги, да не то забыл, не то обстоятельства не вышли, и ртуть лежала себе тихо в кувшине, и никто не беспокоился. На мое несчастие, кувшин треснул, ртуть начало вымывать — и вот тебе великая вся находка.

Плюнул я на черепки, жаль мне стало потерянного времени, мне уже давно нужно было из этого района переходить в другой. Пошел я с Сеидом дальше, поселился в кишлаке. По утрам, пока не очень жарко, ходил я с ним на съемку геологической карты.

Однажды утром выпил я в чайхане зеленого чая и дожидаюсь Сеида. А он предупредил меня, что спать ему в комнате душно и он хочет спать на крыше. Ну, пожалуйста, спи на крыше. Ночи теплые, воздух красивый, луна большая, только вставай пораньше. Он же как раз последнего-то условия не выполняет. Я жду, жду, чаю больше пить неохота, работа наша, вопреки пословице, как раз волк, в лес и убежит. Как выйдешь в самую жару — на гору трудно лезть, на горе работать еще труднее. Я вышел из чайханы и смотрю на саклю, на крыше которой разнеживался Сеид.

Сакля расположена выше других, и на крышу лесенка ведет сбоку. Мимо сакли по площадке взад и вперед по хозяйству хлопочет одна молоденькая узбечка, — ей Сеид нравился, и она с удовольствием с ним разговаривала и чай пила. Тут ходит она и, зная, что он на крыше спит, тихонько маленькие камешки на крышу кидает, чтобы разбудить и подразнить заодно. Кидает она свои камешки, а Сеид все спит, и никакого признака жизни не проявляет, а солнце — уже вот оно! Это — беспорядок, до сих пор не имевший места. Думаю: «Пойду-ка сам и задам ему трепку. Уж не выпил ли накануне мой Сеид, что и опомниться на другой день не может?»

В самом азартном состоянии полез я по лесенке на крышу — осторожно, чтобы не свалиться с этого гнилого и шаткого сооружения. И только, ухватившись руками за край стены, высунул голову и взглянул на лежащего Сеида, как чуть с лестницы не упал, и только мое природное хладнокровие выручило меня, что я удержался от крика.

Сеид был громадный парень, с широкими плечами, с загорелым квадратным лбом, с большими черными глазами и тому подобное. Так вот, громадные его плечи лежали не вздрагивая, голова была неподвижна, глаза раскрыты, а на квадратном загорелом лбу его, уютно сложившись, дрыхла огромная желтобрюхая фаланга. Этакая гадина сама по себе от-

вратительна в любой обстановке, — свернувшись на лбу человека, она казалась вдвое отвратительнее.

Сеид проснулся, повидимому, давно, но боялся пошевелиться и крикнуть, чтобы не разъярить фалангу. Укус ее, да еще так близко от мозга, очень опасен, а снизу добрая девушка все подбрасывала камешки, и они ударялись то в щеку, то в плечо Сеида, и он уже побледнел от горести и лежал как труп.

Фаланге же снились, повидимому, замечательные сны, потому что она ни одной ногой не дрыгала и, чорт ее знает, может, даже храпела от удовольствия. Под рукой у меня не было ни одного предмета такого, каким можно было бы без вреда для здоровья Сеида фалангу сбросить. Скатился я с лестницы — и к девушке. Девушка была храбрая, выслушала, сорвалась с места и куда-то вниз по тропинке — бегом, бегом. Я остался ждать, а наверху тишина, бедный мой приятель совсем уже изнемог.

Появляется девушка, запыхалась, с длинным тонким прутиком. Руки у нее дрожат. Я хочу взять прутик — не дает, головой машет, шепчет:

— Я камешки бросала, я буду фалангу бить.

А куда ей бить, если у нее руки дрожат! Я ей на руки показываю, она только головой машет. Поняла, что я сомневаюсь, пошла медленно к лестнице, протянула руку, прутиком сбила паука со стенки, — видишь, показывает, как я управляюсь? — и полезла.

Сеид ее увидал, стыдно ему и страшно. Фаланга спит. Девушка размахнулась прутом, да не с руки, остановилась. Перехватило у Сеида дыхание. Смотрят они глаза в глаза. Ждут: что фаланга? Она пошевелилась и снова успокоилась. Тут как ударит ее сбоку прутиком девушка да прямо мне к ногам и сбила (хоть не на голову, спасибо). Я ее и прикончил. Сеид этот день все ходил и за камни заглядывал, не ждет ли

его там сестрица утренней его приятельницы. С тех пор он неделю на крышу не залезал, а потом опять повадился: у него на страх память короткая.

Тут скоро пошли мы на соединение с большим отрядом главной экспедиции. Пришли мы в главный лагерь, Сеида я отпустил домой, в лагере большое скопление людей, знакомых множество, в одной палатке заставляют обедать, в другой чай пить, в третьей угощают домашним хворостом, в четвертой срочно варят какао, обмениваются сообщениями о работе.

Куча собак сидит вокруг лагеря. Странная организация — эти собаки! Как вышла экспедиция целиком из города — и они стаей вышли за ней, стала экспедиция дробиться на отряды — и собаки стали разделяться. Уж по каким признакам они делились, я понять не могу. Наконец и большие отряды разделились — и собаки по две штуки за каждым отрядом. Соединилась экспедиция — и собаки все налицо.

Пока я философствовал о порядках, существующих в собачьем обществе, псы уже предчувствовали новое разделение отряда, сидели и смотрели, как бы говоря: опять будем делиться.

Позвали меня к начальнику.

Начальник говорит:

— Вы, товарищ Арсеньев, поедете с Ивиным в партию Кочкина посмотреть, что с ним, давно известий не было, район у него трудный. Ивин человек опытный, я ему все поручаю, вы его слушайтесь и поучайтесь. Я буду в главной базе. До свидания, выезжайте сегодня же.

Начальник слов тратить не любил. Ивин тоже был человек серьезный, «небьющийся», как он хвастался.

Едем мы в район Кочкина. Действительно, доложу вам, дорожка! Прежде всего броды замучили. Ямы в них, песок вяжущий, вода глубокая, перемокли как алкоголики.

Второе дело — пошли тропы над пропастью. У меня го-

лова не кружится, а у кого кружится, то хоть плачь или глаза завязывай. Посмотришь вниз и думаешь: уж не птицей ли паришь без остановки? Только внизу, на моренах древних ледников, травка зеленеет, да в бинокль видны где-то на горизонте юрты. Люди, значит, добрались сюда и жизнь изображают, как могут. Шли-шли на перевал, икота у меня началась, у лошади тоже. Идем, икаем, точно луку объелись. Панорама, как пишут в газетах, исключительная!

Загадки природы повсюду рассыпаны. Например: вижу ледник один и тот же на два рукава разбивается; один бежит к нам в долину, а другой от нас поворачивает на юг. Горы уже не стоят, а главенствуют, заседают такими исполинскими собраниями, что в ум не придет, как это по ним лазить можно. Спустились мы с перевала, как из зимы в лето, видим — всадники навстречу. Увидели нас — повернули назад, повернули к нам, повернули назад, вертятся.

— Плохо дело, — говорю Ивину, — басмачи никак.

А он, как шкап, спокойно едет. Очень спокойной крови человек был. Всадники подумали и опять навстречу едут и оказываются Кочкиным и двумя его коллекторами.

Стали мы пить чай, — Кочкин пьет только воду; едим консервы, — а он сыр с лепешками. Мы за окорок несвежей ветчины принялись, — он начал папиросу крутить. Стали говорить, что завтра поедем на его разработки, — он возражает: нельзя завтра, плохая погода, перевал будет трудным; лошадей переменить хотели, — он своих в другую долину загнал. Как ни кинь, все клин.

— Нектар Петрович, — говорю я перед сном Ивину, — не нравится мне что-то Кочкин.

— А почему, позвольте вас спросить, юноша, он вам не нравится?

— Скажите, он принципиально воду вместо чая пьет и вместо консервов лепешки с сыром ест?

— Надо думать, не по наитию святого духа.

— И лошадей принципиально загнал подальше?

— Ему видней, он здешних мест ответчик.

— И нас принципиально к себе в район пустить не хочет?

— Откуда вы это увидели, что он не хочет?

— Да говорит: завтра ехать нельзя — погода плохая, а послезавтра слишком хорошая будет, опять что-нибудь выдумает.

— А почему вам все это подозрительным кажется?

— Простите меня, Нектар Петрович, но ведь изыскания у него особые, тут разное можно подумать.

— Бросьте, юноша, какие-такие особые? Что он золото ищет, так что тут особого? Золото в нашем деле — минерал, ничего особого, кроме природных своих качеств, отличающих его от других собратий, не имеет. Никакой таинственности. Да-с. Покойной ночи, юноша.

Взяли мы на другой день, однако, перевал и на первый пункт кочкинских разработок прибыли. Видим, работает небольшой ударновращательный бур Эмпайра с обсадными трубами, все честь-честью по видимости, но в общем видимость эта жалкая.

— Бур-то видите, Нектар Петрович?

— Вижу, — бурчит Ивин, — ну, а дальше?

— А дальше: у бура-то трубы на двенадцать метров, а толщина галечника не меньше тридцати метров. Сколько ни бури, до плотика (то есть до казенной части, на которую оседает золото) никак не дойдешь. Один тор (то есть пустую породу) будешь ворошить.

Ивин мотнул усом, ничего не сказал.

Трое рабочих уныло толкались у этого несерьезного сооружения. Работало еще несколько шурфов, тоже не очень глубоких. Спрашиваем Кочкина:

— Где же золото?

— Уловили, — говорит, — несколько знаков.

— Ну, покажите промывку, порадуйте.

Хотели продемонстрировать нам промывку, — пусто в ней как в навозной куче. Перед самым отъездом принес Кочкин какую-то микроскопическую золотинку, простым глазом ее и не усмотришь.

— Что ж это такое? — спрашиваю я Ивина.

— То, что видели, то и есть, — говорит он медленно. Тяжкодум у меня начальник на сей раз был.

Поехали в следующий лагерь. Утром пораньше решили выступить, — не выступаем, час за часом идет, уже солнце высоко.

— Опять погода, может быть, плохая? — ехидствую я.

— Кобыл, — отвечают, — ждем. Скоро кумыс будет.

— То есть как кумыс?

Оказывается, как они выступали, дали им пять кобылиц жеребых; они разродились по дороге и создали кумысную базу Кочкину. А сейчас кобылицы прогуливаться ушли в заросль и там их ищут днем с огнем.

«Кобылицами уже он хочет прикрыться», думаю я.

Едва-едва в одиннадцать часов нашлись кобылицы. Попили мы кумыса и выступили. Смотрю, а с нами и нет Кочкина, он в лагере остался. Ивин молчит, вперед едет. Так молча двигается наша компания на новый перевал, а мне все не нравится: и работа кочкинская, и он сам, и кумыс его какой-то невкусный. Кряхтели-кряхтели, лезли на перевал. Лежит озеро, перевал, — слава тебе, геология, — метров тысячи четыре с хвостиком потянет, много камней, как полагается, а травы почти нет. Прокормить на нем коней — все равно что человека хлебными крошками.

Догоняют нас на перевале два молодых коллектора кочкинских и сообщают, что он просит нас переночевать здесь, что он скоро нас нагонит, а дальше ехать сегодня нельзя, кормить лошадей негде.

Тут я выругался, и не тихо даже, и стали мы ставить палатки. Костер надо разжечь. Пошли мы, горемычные, кизяк собирать. Разбросан этот навоз по всему перевалу, и за отсутствием развлечений сбор его приобретает даже некоторый спортивный интерес. Занятие сие напоминает в карикатурном виде собирание грибов у нас на севере. Кизяк и разбивается, как грибы, по качеству. Мы делили его на сорта: экспортный, — горит как антрацит, — потом шли экстра, первый сорт, второй и т. п.

Сортировали его мы тут же, у костра, экстра был похуже экспортного, первый сорт чадил здорово, со второго уже и не спрашивай жару, остальное же было самым невзыскательным навозом и даже в огне навозом упорно оставалось, и — чудо топливного искусства — наш огонь с трудом кипятил чайник.

Когда мы вконец измучились, приезжает Кочкин с целым караваном: бараны, дрова, толпа сотрудников. Заночевали. Холодно было как зимой на улице. Озеро замерзло. Утром с такого места надо бы бегом бежать. Опять стоп. Сотрудники ушли одни на охоту, другие ушли их искать, третьи чай пить хотят, иные барана резать, — не разберешь. Я рассердился, больше не мог выносить такого беспорядка.

— Разрешите вперед поехать, — говорю я Нектару Петровичу. — Что же это такое?

Нектар Петрович покрутил свой ус.

— Поезжайте, я тоже не замедлю. На спуске осторожней, на повороте еще осторожней.

Так и приехал я первый в центр кочкинских владений. От старого времени осталось в том ущелье несколько полуразрушенных домов, из валунов сложенных. В двух жили кочкинские сотрудники, остальные пустовали.

Пошел я бродить, натыкаюсь на большое колесо. Оказывается, приспособлено оно для промывки породы. Теорети-

чески вода специального арыка приводит колесо в движение, от колеса идет вал к дробилке Блека, в которую насыпается золотоносная порода. Это — теоретически; практически же колесо не работало. Стоял около него рабочий, мирно курил, как в санатории.

— Хороши дела? — спрашиваю.

— Хороши, — мрачно сплюнув, отвечает этот дракон с трубкой. — Строим уже две недели, а что выйдет, сами понять не можем.

— Отчего же так?

— Да оттого же, что начальник — духом упавший.

— Как это «духом упавший»?

— Да так.

Вижу, дракон мой не очень словоохотлив, однако продолжаю:

— У него болит что-нибудь? На диэте он сидит, воду одну пьет, ничего не ест.

— Насчет диэты, — отвечает, — я вам не ветеринар, а это, — он показал на колесо, — Кочкин называет: «грань фантастики». Видать, шутит...

Приехал Кочкин с Ивиным. Кочкин потрогал колесо, говорит:

— Вот наша механизированная установка, две недели прекрасно работает, а сейчас идемте на месторождение королевы голландской.

У меня чуть глаза не выскочили от удивления. Я не сдержался и сказал:

— Что вы любитель голландского сыра, это я видел, но что вы еще поклонник королевы голландской, это совсем забавно.

— Не дерзите, юноша, — покрутил ус Нектар Петрович, — это действительно бывшие разработки имени королевы голландской. Тут до войны один человек копался, и вот он-то

и был любитель королевы голландской, что так назвал разработки, а наш товарищ Кочкин тут ни при чем. Идемте.

Пошли дальше по крутым осыпям. Иди да осматривайся, как бы шею не свернуть.

— Вы на Урале бывали? — спрашивает Кочкин, а лез он в гору медленно, точно под ним земля тряслась.

— Урал — моя родина, — говорю.

— Так вот это почти Березовский рудник. Вы придете и скажете: да ведь это Березовский рудник, — вы даже на минуту забудете, что вы в Средней Азии, а не на Урале.

Взобрались наконец мы в это заколдованное место. Ничего похожего на березиты уральские нет. Камни как камни. Разошлись все на поиски. Искали, искали, и я говорю тихо Ивину:

— Нектар Петрович! День, а я как ночью брожу, неладное что-то.

— А что тут неладного? — спрашивает меня тихо Ивин и ус проклятый все крутит, хоть открутил бы его совсем.

— Да нас с вами все время за нос водят. Березиты как на Урале! Битый час ищем, а где они?

— А вот они, — говорит он спокойно и показывает мне кусочек белого березита. — Вот вам, — усмехается, — юноша, бедро королевы голландской, а вечером приходите ко мне в домик, потолкуем.

Я, конечно, смолкаю, но ничего понять не могу. Вечером сидим мы вдвоем с Ивиным. Он меня отчитал сначала за невыдержанность и за неопытность, а потом повел такую речь:

— Товарищ Арсеньев, я знаю давно Кочкина, он хороший работник, но человек с заскоком. Сколько раз я его заскоки обнаруживал, а сейчас, сознаюсь, не могу понять, в чем его сегодняшний заскок. Одно скажу: сегодня заскок ему мешает. Работать здесь можно, и золото, юноша, золото здесь есть, и березиты — факт, а вот заскок мешает. Я с ним пого-

ворю сейчас, можете присутствовать, только вперед шурфа в породу не лезьте, да, да. Влияние его заскока людям передалось, и оттого вокруг уныние.

Я вспомнил слова рабочего, что Кочкин духом упал, и желал поскорее выяснить, откуда это падение.

Кочкин пришел к нам такой же утомленный и серый, как был все эти дни. Пили мы чай. Он свою воду принципиальную полакал, закурил. Тронул его за коленку Ивин.

— Алеша, в чем твой нынешний заскок выражается? Тебе же самому мучительно. Откройся, нас никто не слышит. Этот юноша своей геологической семьи член, все в порядке, откройся.

Кочкин молчит и сосет потухшую папиросу. Бросил ее, стал спичку сосать.

— Нет у меня никакого сейчас заскока. Тут другое есть. Ты же знаешь, какой я человек рассеянный.

— Знаю, — впервые обрадовался мой Нектар Петрович.— Так какая же рассеянность у тебя?

Сидели мы у раскрытого окна, — впрочем, что я говорю: у раскрытого! — там все равно ни одного стекла не было ни в одном домике. На дворе уже ночь стояла. Кочкин смотрел в эту тьму за окном и молчал. Спичку дососал и обломал.

— Ну, ответь, — просил его Ивин, — дай полный ответ.

Кочкин качнулся к лампе, и тут как ударит гром за окном, где-то на тропе, точно метеор свалился с неба, все осветил мгновенно.

— Вот мой ответ! — закричал Кочкин — и на двор. Мы за ним. В темноте ругань, вой, свист. В домиках наших смятение. Слышно, как заряжают винтовки. Только один Кочкин кричит прямо нестерпимо как громко:

— Стой, стой, не стрелять!

Из тьмы какие-то люди выходят, лошадей ведут. С тропинки спускаются. Гости неожиданные прибыли.

— Басмачи, что ли? — спрашиваю я.

— Сами вы басмачи, чуть наших лошадей не погубили.

— А кто вы такие?

— Мы — киноэкспедиция. Окрестности снимаем для картины. Ишь, сволочи, фугасов каких-то наставили! Порт-Артур, подумаешь, какой тут построили! Что не предупреждаете?

— Вот мой ответ, — грустно сказал Кочкин: — это только первый ответ. — Он махнул рукой.

Старший работник Африкан громко провозгласил:

— По распоряжению начальника партии прошу ночью дальше пятидесяти шагов от домов не отходить во избежание взрыва. Заложены фугасы.

— Правильно, — вздохнул Кочкин, — фугасы заложены, ничего не поделаешь.

Тут мы бросили приехавших киноков разгружаться и доругиваться и втащили Кочкина в дом.

— Теперь, юноша, — сказал мне Ивин, когда Кочкин, тяжело дыша, сел под лампу, — идите прогуляться, дальше пятидесяти шагов от дома не отходите, — еще взорветесь! Я вас позову. Панику не распространяйте, за киноартистками не ухаживайте и тому подобное.

Он покрутил ус и закрыл дверь перед моим носом. Ходил я перед этой дурацкой дверью часа два. Уже все успокоились, тишина на небе и на земле никакими фугасами больше не нарушалась, надоело мне ходить и холодно стало. Я постучал в дверь, и, признаюсь, не очень слабо.

— Сейчас, — ответил мне Ивин и выпустил Кочкина.

Я с радостью сел на его место. Ивин ходил по комнате, с потолка сыпалась ему на плечи какая-то труха, ус он не крутил, а даже наоборот, руки были убраны за спину, и только глаза блестели лукавством, какого блеска я у него никогда не наблюдал.

— Век живи, век учись — и никогда не помрешь, — ска-

зал он, останавливаясь против меня: — особенно — от фугасов.

Тут он разъединил руки и поднес палец к моему лбу.

— Не вы, юноша, узнали первый, в чем здесь петрушка. Я же и бедро королевы голландской нашел, а не вы, — это дело опытности, — а так как вы сгораете от любопытства, как керосин в этой посудине, неумеренно, то я вам поясню все: дело простое. Кочкин — человек рассеянный. Раз его застукал в этой долине отряд басмачей и потрепал. Убили кое-кого из его сотрудников, его самого подранили. Жил человек после этого и думал, что для его психологии это прошло безболезненно. А пришел сейчас сюда с новым отрядом — и вдруг всюду ему басмачи кажутся. Он сначала работал здесь только с двумя рабочими, и они кругом для самозащиты от несуществующих больше басмачей повсюду фугасы наставили да и других приучили на ночь динамит закладывать. А куда он динамит прежде наставил, те места он по природной своей рассеянности забыл, и теперь мучается: долина вся минирована, уйти из долины нельзя, надо работать, а у него чортова куча фугасов наставлена. Ну, фугасы не ахти какие, полк с танками не взорвет, но если нарвешься вплотную — невесело, конечно. Вот он и трясется, что каждую минуту нет-нет да и трахнет под ним. Уж он многие нашел, а всех не припомнить; особо сильный есть один — никак вспомнить не может. И тоска его на всех отражается. Люди не понимают, в чем дело, и тоже нервничают, а новички — те и впрямь ждут, что каждую минуту басмачи появятся, а им являться неоткуда.

— Что же мы будем делать?

— Будем завтра динамитный субботник устраивать. Всюду искать. Иначе не жизнь здесь. А теперь, когда все ясно, ложитесь, посмотрите только, нет ли у вас под походной кроватью полтонны динамита, — усмехнулся Ивин и тут дейст-

вительно пощипал свой ус. — Спать, спать, спать! — как говорят гипнотизеры.

Вышел я ночью посмотреть лошадь, заспанный, на дворе холодно. Лошадь, как и предчувствовал, отвязалась и убрела куда-то в сторону. Я пошел за ней, слышу — издали она в кустах путается. Шагнул я в траву и вдруг — хлоп! — вокруг ноги что-то и зацепись.

Сразу я из сна выпал, побледнел, сердце не бьется. Змея?— нет, не кусает и даже признаков жизни никаких не подает. Так это веревка от фугаса? Погиб я: дернусь, и вознесусь на небо с грохотом, будь ты проклят! Стою, окаменев, — взрыва нет; наклоняюсь, чиркаю спичку — не горит; другую прикрыл ладонью; оказывается, обруч от боченка; он меня по ноге и хлопнул. «Фу, идиот!», думаю. Отыскал коня и долго плевался.

Собрали мы на другой день отряд и объяснили, что нужно кончить это динамитное недоразумение, будем отыскивать все фугасы, чтобы жизнь в этой долине зацвела по-настоящему, без лишней нервности. Люди слушали и не смеялись никак, не интересно все-таки в неизвестном месте динамит искать. Поработали мы на совесть. Одни в отвалах на скале килограммами динамит нашли, другие тащут из штольни старой капсюли, оттуда идут, отсюда несут, прямо небезопасно становится. Кочкин и радуется и плачет, — не может припомнить, где его самый большой фугас заложен.

Измучились люди, запросили отдыха. Отдали приказ ставить часового на случай покражи лошадей и для охраны склада, а никаких фугасов на тропинках не закладывать. Посчитал Кочкин свои взрывчатые богатства, сел, задумался, высморкался, говорит:

— Нектар Петрович, всё, всё здесь! Вспомнил: всё! Нашли всё!

Тут лицо его омрачилось; думал я, что он чихнет сейчас, а он жалобно пропищал:

— Все-таки самое большое место не нашли, убей меня гром, не нашли.

— Ну, ладно, найдем, — сказал спокойно Ивин, — садись плов есть.

— Да я с этим динамитом всякий аппетит потерял, — говорит Кочкин, — пить-есть не могу, мне бы к доктору, что ли, поехать. Да некогда, дел куча.

Сели мы обрадованные есть плов и ели его до того, что в животе горячо стало. Вдруг видим новое зрелище. Это не долина была, а какая-то опера. Идут молодцы к нам, — сначала мы думали: какие-то безголовые верблюды хромают: вьюки огромные, а голов нет, — а это идут молодцы.

Костюмы из непромокаемой материи, по два нагана за поясом, киргизские шляпы, мешки за плечами ужасные по громадности, в руках ледорубы, на мешках веревки, на веревках стальные кошки, крючья, чорт те что.

Это, оказывается, альпинисты, горовосходители отважные, с каких-то вершин спустились, жрать хотят немыслимо, а мы уже весь плов кончили, надо новый начинать. Эти альпинисты были прямо неутомимы как буйволы. Мешки сбросили, ледорубы в землю воткнули и позади домиков под старой сосной такой костер запалили, что можно на том костре всех наших кляч отрядных поджарить. Сели вокруг, повесили котел. Мне захотелось поближе с ними познакомиться. Подсел и я. Смотрю — еще наши подходят. Ивин тут заинтересовался, и Кочкин за ним тащится.

Вода в котле забулькала, альпинист один начал повествовать, как это они лазили по ледникам, и только он дошел до пропасти, где они по веревке спускались, жизнь их висела на волоске, но они и не дрогнули бровью, — «правда ведь, ребята, — говорит, — никто бровью не дрогнул?» — все отвечали: «никто; подумаешь, пропасть!» — смотрю я — Кочкин потемнел, замахал руками, как закричит:

— Гасите огонь, скорее долой костер, скорей!

Альпинисты застыли, рассказчик не знает что думать, шепчут: «Сумасшедший, что ли, припадочный?»

Кочкин сам кинулся разбрасывать костер, его за рукав хватают, он кричит:

— Здесь и есть то место, где мой главный динамит лежит! Вспомнил, вспомнил! Вот по дереву, как его осветили, вспомнил! На динамите сидите! Гасите огонь!

Что тут было! Не знаю, боялись пропасти альпинисты или не боялись, но динамита они перетрусили ужасно. Кто вскочил — и бежать, кто упал впопыхах, в своей сбруе запутался, тот воду льет в огонь, тот хватает руками горящие поленья, обжигается. Кое-как костер растащили, оставили все дело до утра.

А утром динамит нашли, — только не там, где костер был, а по другую сторону от дерева, шагов за тридцать. Видимо, и впрямь Кочкин был человек рассеянный. Потом жизнь стала нормальной и даже очень интересной. Золото начали добывать понемногу, люди успокоились и так уже весь сезон спокойно проработали.

В. ПОТУЛОВ

ОГОНЬ И ВОДА

АВТОЛИТОГРАФИЯ Г. ШЕВЯКОВА

КРЫСА

Крыса, известно, — крыса. Шуршит, серая, грызет, вот и все. Что же ей еще делать?

А она, длиннохвостая, большие дела может натворить.

Мороз стоял — градусов тридцать.

Перемокли мы на этом пожаре до нитки, а потом замерзли. Скарежил лед наши брезенты, — рукой, ногой шевельнуть нельзя. Стоим мы ледяными чурбанами на чердаке. Крыша разворочена, из стволов ледяная вода хлещет, с головы до ног окатывает. На касках сосульки висят. Каски к волосам примерзли, брезенты к ватникам, портянки к сапогам. Чувствую, даже глаза замерзли.

Ну, прямо ложись, помирай! Помороженные места оттирать не успеваем. Нос оттер — щеки застыли, щеки оттер — уха не чувствуешь.

Уж на что братья Беки любители пожаров, а и тех скрутило.

— Ну, что, дождались? — говорит Юрочка. — Всё скулили: пожаров нет!

Зафыркали Беки на Юрочку:

— Тебе бы только по ложному вызову ездить! А как на хороший пожар попал, так и забубнил.

А у самих зубы — тра-та-та, тра-та-та.

Юрочка разгребает дымящийся хлам — матрацы, рогожи, ящики — и ругается:

— Барахольщики! Сколько дряни к дымоходу привалили! Управдома надо бы за решетку, — пусть пожаров не устраивает.

Беки опять спорят:

— При чем тут управдом? Жильцы виноваты: побросают свои хархары, а куда — и не посмотрят. Ихний недогляд.

Брандмейстер лед с усов отдирает и говорит:

— Вообще, это шалый жакт.

Старший топорник ворчит:

— Чтоб им всем сгореть, идолам!

Злы все как собаки ошпаренные, да и понятно. Приехали мы, двинули на крышу механическую лестницу. Проложили рукава. Даем воду.

Прет вода, чистит чердак от огня.

Вдруг — стоп. Что такое? Замерзла вода в рукавах. Хоть плачь.

Позвали на помощь еще две части. Это по-пожарному дать бис называется. Приехали они. Проложили свои рукава. Мокнут, коченеют, заливают чердак.

Забит огонь, амба огню!

— Закуривай, — говорит мне Юрочка, — скоро домой поедем.

Вдруг — стоп!

Снова замерзла линия. Опять шумит огонь, хоть плачь.

Зовет брандмейстер еще три части на помощь. Это по-нашему — дать второй номер называется.

Всего, значит, собирается шесть частей и самое главное наше начальство — брандмайор — катит.

Приехали. Проложили свои рукава, шпарят, стараются во-всю. А пламя уже шестой этаж щекочет.

Бьет вода огонь и в хвост и в гриву.

Сбит огонь — мотается только кое-где по застрехам.

— Ну, — говорят Беки, — сматывай удочки, скоро, домой.

Трах! Снова нет воды — замерзла. Опять полыхает чердак. Хоть плачь.

Вызывает брандмайор на помощь еще четыре части. Это значит уже десять частей на пожаре страдают, а по-нашему — третий номер дан. Глянул я с крыши — вся улица в красных автомобилях.

Разматывают приехавшие части новые рукава. А шестой этаж уже светленький. Жарится дом на медленном огне.

Заработали новые части — ударили по огню. Забит огонь в доску, еще бы поднажать — каюк огню.

Фу ты! Снова лед нафаршировал рукава как колбасу. Нет воды, та же история.

Тут скорей брандмайор двадцать городских частей и три заводских команды собирает. Такой пожар у нас пятым номером называется.

Командует брандмайор:

— Дать линию рукавов А!

Рукава А — трехдюймовые, самые толстые в ленинградской команде.

Мы рукавами А верхних этажей не тушим. Они потоп устраивают.

Торопит брандмайор:

— Готова линия?

— Есть. Готова! — отвечают.

— Давай воду!

Засосали насосы, гонят воду, вёдер по полтораста в минуту.

Бьет струя, хлещет в упор. Чернит стены, гонит, чистит огонь с балок, стропил, потолков.

Забили, затопили, захлестали пожар трехдюймовые.

Не успел лед этакую толщу профаршировать. Рукава А прикончили пожар.

А мы уже себя не чувствуем, даже оттирать снегом помороженные места перестали. Не можем.

Ругается Юрочка:

— Голову оторвать тому, кто все это устроил!

А начальство спрашивает:

— Кто виноват? Какая причина пожара?

Юрочка вполголоса:

— Балда-управдом!

Братья Беки:

— Жильцы-барахольщики!

Брандмейстер:

— Несостоятельный жакт!

А старший топорник:

— Чтоб им всем сгореть, идолам!

— Надо поискать, посмотреть, — говорит брандмайор.

Стали искать.

Брандмейстер нахмурил лоб и говорит брандмайору:

— Товарищ начальник, от проводов электрических загорелось, короткое замыкание было.

Стали провода осматривать.

Вдруг старший топорник кричит:

— Нашел! Вот он, поджигатель!

Все к нему, а он держит за хвост дохлую крысу.

Покачал, покачал да о балку.

Засмеялась все.

А Юрочка и говорит:

— Ты что, Туркин, мозги вытопил? Как же это она подожгла?

Взял его старший топорник за руку.

— Гляди сюда. Видишь?

Смотрит Юрочка, смотрим мы.

Видим, обглоданы нитки, которыми проволоки проводов обмотаны.

— Да, — говорит брандмайор, — ловко она изоляцию с проводов сгрызла. Какой тарарам наделала!

— Вижу, — говорит Юрочка, — проволочки сцепились, получилось короткое замыкание, ну и загорелись провода, потом обои, и пошло полыхать...

Стали мы собираться с пожара сляжу — братья Беки аккуратно крысу в бумажку заворачивают.

— Что делать с нею хотите? — спрашиваю.

— Заспиртуем и в пожарный музей сдадим, — отвечают Беки, — а на банке напишем: «Семнадцатого января 1928 года эта крыса была виновницей большого пожара в городе Ленинграде. На пожаре работало двадцать городских частей и три заводских команды. Выгорели чердаки и верхний этаж. Пострадало на пожаре тринадцать пожарных».

Действительно, пострадали. Я из-за этой самой крысы три дня с помороженной ногой в кровати пролежал.

Вот тебе и крыса, вот тебе и шуршит.

ЛЯГУШЕЧЬЕ ПЕКЛО

Пристали ко мне двое ребятишек:

— Зачем, дяденька, пожарных столько понаехало?

— На вас поглядеть захотели, — отвечаю.

— Да нет, дяденька, скажи, что на болоте делать хотите?

— Лягушек ловить будем, — отвечаю.

— А зачем лягушки вам, дяденька?

— Жарить их будем. Не приставайте!

— Да нет, правду скажите, дяденька!

— Ну ладно, болото жечь будем.

Не верят ребята:

— Все ты врешь, дяденька!

Стоим мы за Ленинградом, недалеко от угольной гавани, на железнодорожной насыпи. Справа от насыпи «Красный путиловец» и Судостроительная верфь. Влево, рядом с железнодорожным полотном — шоссе, за шоссе — канал.

А за каналом тянется до самого взморья гладина болотная. Кое-где на болоте пòросли тростника, из тростника коряги рогатые торчат; дальше ивняк, кочки, а еще дальше все бело, — там взморье.

Гладкое, ровное болото, ни одного на болоте строения. Чему тут гореть, кажется?

А около болота выстроились пожарные хода — автогазолинейки, автонасосы — друг другу в хвост.

Потеют трубники, разматывают рукава.

Паровоз бегает взад и вперед, таскает по насыпи товарный вагон с железнодорожной командой. Ординарцы по шоссе тянут проволоку, — устанавливают между болотом и пожарной охраной связь. Ближе к болоту стоят брандмейстеры в черных брезентовых пальто, толкуют с брандмайором.

Мне все видно. Сегодня наш брандмейстер с красной повязкой на рукаве — начальник тыла, а я при нем ординарцем.

Указали мы, где каждому ходу стать, посмотрели, чтобы хода друг другу не загораживали дорогу, влезли на насыпь и смотрим.

Возле нас вертятся кинооператоры и двое ребят.

Кинооператоры наводят на болото аппараты, хотят его снимать, а ребят ко мне точно клеем приклеило. Ноют над душой:

— Пожарник, скажи, чего это столько народу на болото пригнали?

— Потерпите, увидите, — отвечаю.

Терпят ребята, смотрят.

Вот переправились через канал топорники с факелами.

Отошли друг от друга шагов на тридцать, стали шеренгой, зажгли факелы.

— Дяденька, а дяденька, зачем им днем факелы? Ведь, и так светло, — опять спрашивают ребята.

— Потерпите, — говорю.

Тут начальство командует:

— Начинай!

Пошла цепь топорников, мажет болото факелами. Как боров чавкает под сапогами болото. Вперегонку с топорниками бегут вихрастые огненные полосы.

Раздувает ветер огонь. Уже не полосы, а костры полыхают.

Точно подраться хотят, бегут, торопятся костры, текут рекой по болотной гладине.

— Отступай, отступай! — кричит начальство.

Гонит огонь топорников, скачет за топорниками с кочки на кочку, слизывает с кочек прошлогоднюю траву.

Удирают топорники, а огонь за ними по мокрой гладине так и катится. Шипит мокрая гладина.

Вот докатился огонь до тростниковой поросли — вспыхнула поросль, налетел на кусты ивняка — горят кусты, кинулся на коряги, обдал их пламенем — трещат коряги, корчатся.

Озноб прошибает, как поглядишь!

Гибнет лягушечье царство.

Накалился воздух, шумит камыш, стреляет искрами коряжник.

Все болото гудит, пыхтит, будто тысячи паровиков маховиками ворочают.

— Красота! — говорит брандмейстер.

И в самом деле красота. Бушует огонь, бьет вверх, ввинчивает багровый штопор в черный смоляной дым. Валит горы дыма с боку на бок, гонит черноту вверх на несколько километров в небо.

Гарь лезет в глаза, в уши, в нос. Солнце сквозь дым — желтое как мандарин.

— Тридцать лет тушу, а такой красоты не видывал! — говорит брандмейстер.

Вспомнил тут я про ребятишек.

— Ну, как, — говорю, — ребята, видите, как пожарные лягушек жарят?

Оглянулся, а никаких ребят нет. Гляжу направо, налево. Вижу — скачут мои ребята как зайцы по насыпи к Ленинграду. На паровозе не догонишь!

Кричу им вслед:

— Шпарь скорей! Насыпь горит!

А ребята и не оглядываются.

Да, горело что надо, огонь топорников к самому взморью прижал, на отмель пришлось пожарникам выбираться.

А тут еще две мины на топорников страху нагнали.

— Видим, — рассказывают они, — в кустах что-то круглое железное. Глядим — мины. Ну, думаем, конец, накалятся — в клочки нас порвут.

Ну, ничего, обошлось, — мины незаряженные оказались.

В наводнение их на болото с моря занесло. Поглядели мы на них, да на всякий случай, для покоя, обратно в воду бултыхнули. Мины в море уплывут, пароходы пугать будут.

А теперь скажу, почему болото горело.

В наводнение 1924 года в Угольной гавани подмыло цистерну, а в цистерне, говорят, тысяч двести пудов мазута было.

Понесла вода мазут на болото, а как кончилось наводнение, — ушла назад в море, а мазут в болоте осел.

Мазут — это остатки нефти, жидкое топливо.

Мазут мы и жгли, чтобы пожара не было.

А то пройдет паровоз, метнет искру, вот и готово — пожар. А глядишь, ветер на город.

Вот мы сами и устроили пожар, чтобы другие не устроили. Наш пожар организованный, неопасный.

Месяца через два в кинематографах лента шла. Называлась: «Пожар в американских степях».

Да вы не верьте кинооператорам! Это не в Америке снимали они, а в Ленинграде, за Судостроительной верфью, на лягушечьем болоте.

БОРИС ШЕРГИН

ПОМОРСКАЯ БЫЛЬ

АВТОЛИТОГРАФИЯ В. КУРДОВА

Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься. Удивишься и устрашишься.

Вот я расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали.

Мы, видите ли, с Зимнего берега беломорского народ, коренные зверобои-промышленники. Отцы наши за океан к Мерзлому морю по моржа, по ошкуя [1] хаживали, а мы больше в своем, в Белом море тюленью породу бьем. Этот зверь сам к нашим берегам гостит.

Бѣды терпеть да погибать — помору не диво. Море — измена лютая. В море идешь — либо добыть, либо домой не быть. Спроси того, другого ребенка в Поморьи: где тата? Скажет: «в море утонул».

Море нас поит, кормит, море и погребает.

А мы вот от морской беды спаслись. И таким дивом спаслись, что всю жизнь нашу на другую сторону повернуло, — мы новые люди сделались.

Надо мне про это дело рассказать. Вдаль понятнее будет.

Каждый год в Ледовитом океане конец осени ревут и рвут таковы ветры, что тороса — горы ледяные — в мелкие дребезги летят, на просторе вал гремит. Море горой ходит.

Этого и зверь и рыба не любит: пойдут по губам да заливам, где им спокойнее.

[1] Ошкуй — белый медведь.

Тюленьи стада-юрова [1] гребут в Белое море. За зиму все море оплывут, к февралю у Зимнего берега будут. Тут на льдинах тюленьи матери-утельги и детей народят. Народят детей, и повалится все стадо-юрово на долгий отдых. Так лягут, чтобы в середке утельги с детьми, а кругом лысуны-самцы, как стена крепкая — ограда от врагов.

Да еще чем спасаются — уставит тюлень морду в лед и учнет протаивать прорубь горячим дыханием. А другие снизу продувают. Сделают продушину, и нечего им бояться: ежели издали врага приметят, нырнут в воду — и все тут... Утельги младенеи своих плавать учат, ластами своими тихонько толкают, а ежели заупрямятся, так и круто в море роют.

Нам, зимнобережным промышленникам, весь обычай звериный известен.

Как начнут флюгарки без перемен норд-ост, полуночный ветер, сказывать, — начинают и наши деревни на промысел снаряжаться. Знаем уж, что намстали утельги бельков — тюленят черноглазеньких...

Оказия, про которую разговор будет, произошла в этих годах.

Стали у нас коллективы промысловые заводиться. Им даже ледокол предоставили, чтобы не бродили в море с пропащими лодочками, а промышляли бы с парохода. Условия и старикам были подходящи и молодежи по уму. Многие на пароход зашли.

А я да брат мой старший Егор Иванович раздумались. Дело для нас новое, непривычное...

— Нет уж, — говорим, — не гоже нам на машинах-то. А как отцы наши, люди старой веры, жили, так и нас благословили...

И не то что на ледокол, а даже из своей-то прежней артели ушли. Сынишка мой Олександр, конечно, к молодежи тянулся,

[1] Юрово — стадо.

к новому порядку, он страх как на стариков обижался, однако против меня и дяди итти не посмел.

Вот стали мы собираться втроем. Лодочку легонькую наладили на полозья, чтобы по льду тащить, погрузили котел, дровец, хлеба, соли, масла, ружьишки свои, багры-пики, совики оленьи. На себя оленьи же малицы, [1] шапки, бахилы. [2] Брат через плечо сумку какую-то повесил. После только узнали мы, что в ней.

Простились с племенем усердно да и поволоклись. До тюленьих лежбищ от нашей деревни верст сто. Бредем, на льдинах огонек раскладываем, кашу варим и спим, лодочкой накрывшись.

Трудно волочиться по мерзлым припаям. [3] Спасибо, вороны нам путь казали — на зверя летели.

Итти надо аккуратно. Тюленья порода не столько носом чует, сколько глазом берет. Заприметят человека версты за две — и в воду. До того им вид людской противен.

Этак мы трое суток подвигаемся, добычу высматриваем. И вдруг ветер сменился, береговик пал. Мокреть развело... И опасен же этот ветер. Он в море нашего брата на льдинах утаскивает... Переглянулись мы с братом Егором Ивановичем, однако вперед дуем. Вот и лодку стало нам лихо по льду тянуть. Береговой припай кончился, раздельные льдины пошли. Кое-где разводья глядят, край неба засинел, — там полое море.

А ветрище все в спину, все с горы. [4] Не к берегу лед прижимает, а прочь относит... Мы идем, а сами с братом думушку думаем: не время ли нам обратно ходу задать?

Только вдруг сынишко мой встал на торос, огляделся и пулей к нам.

---

[1] Совик — широкая одежда мехом наружу, с капюшоном, надевается через голову поверх малицы, которую шьют мехом к телу.

[2] Бахилы — болотные сапоги с голенищами до пояса.

[3] Припай — кромка льда у берега.

[4] Гора — берег по-поморски.

— Тата, дядя! Юрово! О, коль велико!

Мы — охотники природные. Как услышали это, так всякую опаску забыли.

Брат командует тихонько:

— Надевай совики белы. Хватай пики. Устафеливай [1] зверя.

Надо нам, значит, звериные ухватки принять, зверем притвориться. Любо это и весело.

Вот лезем на юрово, по душу его морскую. Брат ползет, лицо пластиной ледяной кроет, а мы с парнем будто две утельги передними катарами [2] гребем, задом подхватываем, головами покачиваем...

С версту этак. И ни единым словом промеж себя не перещелканем. А спину ломит, колени отнялись...

Вот и добыча рядом: курлыкают все, — ихнего-де тюленьего полку прибывает...

Тут мы прянули на стадо, как волки. Пошли с краю по шабалам по глупым ахать... Тюлень упал, и другой готов, и третий твой. Только железо блестит, да звери ложатся.

Хорошо это. Сердцу весело!

Зверь ревет, и мы глотки дерем. Скачем. Как пьяные сделались. Только вот горе: много матёрого зверя в воду ушло. Артелью бы тут лучше. Артель юрово окружит да и бьет. А втроем не угоняешься.

Стали нам белечки доставаться. Этих и облукавливать не надо. Никуда он, бедный, от тебя не уйдет, — плавать боится. Мать его спасает, в воду пихает, а он к людям на лед лезет.

А тут снег повалил мокрой стеной, с ветром. По конец пики ничего не видать. И лед под ногами завизжал, зашевелился. Мы как от сна пробудились. Брат Егор кричит:

---

[1] Устафеливать — представлять, изображать.

[2] Катары — ноги тюленя.

— Бросай все! Попадай к горы на пиках! [1]

Не бежим — летим. И чуем — не стоит лед под нами — плывет. Гонят его разбойные ветры. Еще одну, другую полынью перемахнули — и дале некуда. Между льдом пловучим и берегом разводье ложится, широко, велико. А лодка наша и всё — там, за разводьем, осталось. Вода чернил чернее, а мы бумаги стали белее. Закрыли глаза руками да и сели, где стояли... Слушаем, как льды скрипят.

Егор Иванович встал, поклонился нам и говорит:

— Брат, племянник, я виноват перед вами и перед вашими семействами! Я старший, а не остерегся.

А мой Олександро затрясся весь — да на меня с дядей черной бранью...

— Почто с артелью не пошли?

Я говорю:

— Дитятко, уносит море и артели.

Заплакал он.

— Все краше с народом помирать. Хоть и от артели бы нас унесло, так товарищи бы телеграмму подали по маякам да на ледокол... Из-за вас я гибну в юные годы.

А Егор ему:

— Саня, море безмерно, льды велики. Какая нам помога — твой пароходишко? Но не падай духом. Ежели нас в окиян не вынесет, а будет кружить в своем море, так всяко бывает, — авось к тому ли, к другому ли берегу притянет нас. А в окиян потащит, так в Горловине [2] маяков много. А и с маяков не пособят, славный остров Моржовец не куда девался...

На ночь мы в кучу собрались, ночь передремали.

Утром с пиками на соседние льдины переправились, полдесятка вчерашнего зверя битого нашли. Тюленины пожевали —

---

[1] Старайся попасть к берегу, опираясь на пики-багры.

[2] Горловина — горло Белого моря, проход в океан.

душная она, рвало нас. Воду мы снегом заменяли. А тюленьи тушки и постелью и окуткой нам были.

Перед сумерками показало Летние горы. Будь при нас лодка — достали бы берега...

К полуночи вынесло нас на середину моря.

Через день были в глазах наших Зимние горы. Чалились [1] мы за льдины, всяко к берегу прибарахтывались. Да где тут...

Трое суток лед да небо да вода, лед да небо да вода... Всего семь дней и семь ночей кружило нас в Белом море.

Далее туманами шли сутки, не зная где.

А потом ночь привелась звездная, и по звездам мы прочитали, что шествие льда на полночь — в океан. [2]

Опять мой Олексишко воет, опять на меня тоска. Брат Егор опять утешает:

— На свету мы горлом беломорским пойдем. Должны нас с маяков оприметить.

Утро серое взялось, со снегом. Слева Лопский берег чернел. Мы весь день кричали. На пики совики повесили. Машем — никто не отзывается. Только тюлени в воду булькают. Брат Егор тут лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги мы грели.

Мы, старики, уже на спасенье не надеялись. Думали, чем скорее замерзнем, тем краше. Да ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами нас долго держало, да окольный лед мелок, не несет человека.

Беда беду родит, — ноги стали отекать, у рук пальцы опухли, с тюленины душу воротит, знобит, и шевелиться лень,— все бы спали... Как Олекса задремлет, — я докучаю брату:

— Это цынга. Конец нам.

Он свое:

---

[1] Чалиться — хвататься, цепляться.

[2] Определять местоположение по звездам принято у мореплавателей повсеместно.

— Это простуда, не унывай, Афанасий.

Была, была маленькая надежда — да не только у Олександра моего, а и у меня с Егором, что Моржовец спасет. Не раз наносило погибающих на этот островок.

Но не спас и Моржовец. Трижды нас круг него обвенчало, но течение тут яро — карбас [1] смелет. Куда нам, с палками-то в руках!.. Да и болезнь обовладела, шевелимся, чтобы только не застыть.

На двенадцатые сутки бедствия вынесло нас в океан. Дремота пуще одолевает, одно любим — крепче заснуть. И уснули бы мы вечным сном, да торнуло [2] нас торосом становым, льдина лопнула, — остались мы на пластине всего саженв пять поперек. Очухались... Дрожим. Я говорю:

— Брат, Егор Иванович, что делать велишь?

— Помирать благословляю.

Достал он свою сумку заветную и вынул три свертка, себе кладет, мне и Олексе подает.

— Вот, светы мои, хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развертываем. В каждом свертке — рубаха смертная белая, пояс, венец, лестовка [3] полотняная... Я поклонился и заплакал.

— Спасибо, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександро смотрит недоуменно:

— Дядя, да разве ты знал, что мы помрем?

— Дитя, — Егор отвечает, — это вековечный поморский обычай, — смертные рубахи в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, в смертное оболок-

---

[1] Карбас — морская лодка.

[2] Торнуло — толкнуло сразмаху.

[3] Лестовка — четки староверские.

лись, друг другу в ноги пали, в родную сторону поклонились Простившись, Олекса запричитал:

— Мила моя матушка, знаешь ли, что сына твово в гроб наладили?

Ох, увы. Обычай родительский — своему детищу жизни да здоровья хотеть, а я тогда сыну единственному смерти скорой молил.

Лежим... Забылись.

Вдруг Егор будит:

— Афанасий, слышишь звон?

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале...

С головами закрылись, дремлем.

И вдруг — гул, шум. Явно, близко... Вскочили мы, а над головами — аэроплан.

Не приснилось ли?..

Нет, кружится, трещит.

Схватил я пику, размахиваю и реву:

— Пособите!.. Пособите!..

И парень мой тоже:

— Батюшки миленькие, пособите!

А он скружил над нами дважды и потерялся...

О, горе взяло! Лучше бы не казался, — надеждой не манил. Эту ночь наборолся я с Олександром моим. Кричит:

— Дядя, тата, заколите меня пикой!

Потом топиться лез... Уж и бил я его, и обнимал, и опять бил, и плакал над ним...

А в полдень опять как рог серебристый запел над нами.

Опять аэроплан!

Егор кричит:

— Да видят ли они нас? Не на зверя ли думают? Вертись по льдинке, летай.

Сам он сумкой своей машет, а я с парнем по льдине бросаемся, и все трое зовем:

— Помогите!

А машина кружит ниже да ниже, пролетела над нами (большая она оказалась) и выронила посылку:

Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!..

Они не слышат, улетели птичкой... А посылка в воду пала. Пикой мы ее добыли. В посылке — сухарей фунтов десять, морошки туес, [1] консервов три банки, мазь какая-то и письмо.

Письмецо мы раз по сту на день читали:

«Товарищи, мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. Сколько будет у вас силы, попадайте ему навстречу. Держите на норд-вест, на побережник-ветер. [2] Принять вас на аэроплан не можем, льдина мала для разгона. Но мы вас не оставим».

Ну, ожили мы тут. Хлебу рады, ягодкам рады — вот ведь, догадались люди морошки послать — цынготным она первое лекарство.

Раздумали мы помирать, повеселели, холоду теперь оберегаемся. Орудуем пиками, сидя да лежа. Ногами уж так себе владеем. Однако ждать да догонять — нет того хуже. Когда разводьем плывем, — страшно нам, что от парохода нас унесет, а когда затор ледяной, — тужим, что пароходу к нам не пробиться.

Один раз мы как будто стрельбу слышали, другой раз — будто машину.

С той поры без отдыху мерещиться начало: то тень пароходная, то дымом пахнет, то мотор стучит.

Без дня неделю ждали. В конец извелись. А в последнюю ночь сменный ветер пал. Торос на торос лезет. Визгу, грому!.. Тут как бы свисток донесло, и гарью дохнуло.

---

[1] Туес — берестяная кубышка.

[2] Северные, вместо того, чтобы сказать: иди на запад, иди на восток, говорят: иди на западник-ветер, на восточник-ветер.

Мы кричать, да погода глушит. И снегом нас заносит. Из последних сил согреваемся, руки-ноги разминаем.

А как обутрело, видим мы ледокол саженях в ста. Ошалели от радости. Кричим как на лошадь:

— Стой, стой!..

Да бегом по льдинам-то.

И нас с парохода увидели, свисток дали, люди с борта кричат, на лед спускаются.

Добежали они до нас, под руки принять хотят. А мы ура кричим да в ноги падаем.

По трапу мы сами подняться на пароход не могли, — нас носком занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому дали норвецкого. Сам капитан обихаживал за доктора. Он воспитывал [1] нас и беспокоился, как отец родной.

Дён через десяток я с сыном помогали уже, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в Мурманской больнице лежал. А как оправился он, мы втроем опять на этот ледокол пошли — в артель.

Всего погибали мы в относе морском восемнадцать дён.

Семь дён — в Белом море.

Пять дён — в Горловине.

Шесть дён — между Каниным и Святым носом в океане.

---

[1] Воспитывал — питал, кормил.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

КАКИЕ У МЕНЯ БЫЛИ ПРОФЕССИИ

АВТОЛИТОГРАФИЯ Л. ГОЛЬДЕНБЕРГА

Я не знаю, сколько есть разных профессий. Один знакомый интеллигент мне сказал, будто всего на земном шаре триста девяносто семь профессий.

Ну, это он, конечно, перехватил на потеху буржуазии, но, вероятно, все же около ста профессий имеется.

Нет, все сто профессий я не имел, но вот пятьдесят профессий я, действительно, испытал.

И вот перед вами человек, который испытал на себе пятьдесят профессий.

Интересно, кем я только не был.

Нет, я, конечно, не был там каким-нибудь экономистом, химиком или там пиротехником, скульптором и так далее. Нет, я не был академиком или там профессором анатомии, алгебры или французского языка. Я не скрою от вас — я не занимал разные интеллигентские посты, не смотрел в подзорные трубы, чтоб видеть разные небесные явления и планеты, не шлялся по шоссе с такой, знаете, маленькой трубочкой на треножнике для измерения высоты поверхности. Не строил мосты или там здания для посольств. И не затемнял свой рассудок математическими вычислениями количества белых шариков в крови.

Да, эти профессии, не скрою от вас, я не испытывал. Мне нехватало для этого всей высоты образования и знания ино-

странных языков. Тем более, что до революции я был малограмотный господин. Читать мог, но писать уже не всегда осмеливался.

И через это, конечно, к сожалению, не могу вам ничего рассказать про такие возвышенные профессии, которые основаны там на науке или там технике или медицине.

Хотя должен вам сказать, что с медициной я сталкивался и даже одно время был врачом. Меня избрали на этот пост свои же полковые товарищи вскоре после Февральской революции.

Я тогда служил в царской армии и был рядовым ефрейтором.

Вот после революции ребята мне и говорят:

— У нас полковой врач такая, извините, холера, что никому почти освобождения не дает, несмотря на Февральскую революцию. Очень бы хотелось его заменить. Вот бы, говорят, хорошо, если бы вы согласились на эту должность. Тем более, говорят, все должности сейчас выборные — вот бы мы тебя и выбрали.

Я говорю:

— Отчего же? Конечно, выбирайте. Я, — говорю, — человек, понимающий явления природы. Понимаю, что после революции ребятам хотелось бы смотаться по домам и поглядеть, как и что. Керенский, — говорю, — этот артист на троне, завертел волынку до победного конца. И полковой врач ему в дудочку подыгрывает, и нашего брата не отпускает. Выбирайте меня врачом — я вас почти всех отпущу.

Вот вскоре после того сменяют командира полка, сменяют подряд офицеров и нашего пресловутого медика. И на его место назначают меня приказом.

Работа оказалась, конечно, трудная и, главное, бестолковая.

Едва послушаешь больного в трубку, как он хнычет и от-

прашивается домой. А если его не отпускаешь — он очень на врача наседает и чуть не хватает его за горло.

Профессия совершенно глупая и небезопасная для жительства.

А если больному дашь порошки — он их жрать не хочет, а швыряет порошки врачу в лицо и велит писать увольнительную.

Ну, для формы спросишь: какая у тебя болезнь? Ну, больной сам, конечно, назвать болезнь не может и тем самым ставит врача втупик, поскольку врач не может все болезни знать наизусть и не может писать в каждой путевке только: брюшной тиф или там вздутие живота.

Другие, конечно, говорят:

— Пиши чего хочешь, только отпусти, поскольку душа болит — охота поглядеть на домашних.

Ну, напишешь ему: душевная болезнь и с этой диэтой отпускаешь.

Но вот вскоре надоедает мне эта бестолковая профессия. И вот пишу я сам себе путевку с обозначением: душевная болезнь первой категории.

Выезжаю с фронта, и, значит, на этом заканчиваю эту свою профессию.

После судьба кидает меня в разные стороны — туда и сюда, как, извините за сравнение, скорлупку в бурном море.

Я делаюсь милиционером. После слесарем, сапожником, кузнецом. Я подковываю лягающих лошадей, дою коров, дрессирую бешеных и кусачих собак. Играю на сценах. Поднимаю занавеси. И так далее и тому подобное и прочее.

При этом снова год нахожусь на фронте в Красной армии — защищаю революцию от многочисленных врагов.

Снова освобождаюсь по чистой. Занимаю должность инструктора по кролиководству и куроводству. Становлюсь агентом уголовного розыска. Делаюсь шофером. И по време-

нам пишу критические отзывы и острые дискуссионные статьи относительно театра и литературы.

И вот перед вами человек, который имел в своей жизни пятьдесят, а может быть даже и больше, профессий. Не скрою от вас — образование, полученное мною в последние годы, не привело меня к лучшим горизонтам.

Недавно меня выдвигают из рабочих в счетоводы. И от этой пустяковой профессии свет меркнет передо мной.

Я отказываюсь, умоляю и упрашиваю не назначать на это дело. Но меня назначают, говоря, что это есть повышение.

Нет, я не успокоюсь на этой должности. И с осени обязательно поверну оглобли назад. И возьму какую-нибудь такую профессию, что мир ахнет от удивления.

Конечно, если оглянуться назад, — такие профессии у меня уже были.

Была у меня до революции одна очень такая странная профессия.

А был я тогда в Крыму. И служил в одном барском имении. Там было четыреста коров. Масса коз, много курей и до чорта баранов. Все это создавало почву для развития сельскохозяйственного дела.

И вот меня нанимают туда — пробольщиком.

Одним словом, в мою обязанность входит пробовать качество масла и сыра.

Это масло и сыр отправлялось на пароходе заграницу. И надо было все это пробовать, чтоб мировая буржуазия не захворала от недоброкачественного товара.

Конечно, дай вам попробовать масла или сырку, — вы, небось, не откажетесь. Но если, предположим, пробовать эту продукцию с утра и до вечера и ежедневно и целый год, — то вы волком взвоете, и свет перед вами померкнет.

Нет, я не был специалистом по этому делу. И совершенно случайно попал на эту профессию.

Мне тогда было двадцать четыре года. Все было тьфу и трынь-трава. И я тогда шлялся по крымским дорогам, надеясь где-нибудь зацепиться, где-нибудь найти работу.

И вот иду по дороге и слышу — молочным хозяйством пахнет. А тут тем более я не ел два дня. И вот взял и пошел на этот приторный запах. Думаю — подкараулю какую-нибудь корову и подою маленько и тем самым подкреплю свои ослабшие силы.

Вижу — за забором сарай. Наверное, думаю, там коровы. Перемахнул через забор. Захожу в сарай. Вижу — там не коровы, а круги сыра лежат. Только я хотел стибрить кусок сыру, — вдруг управляющий идет.

— Ты, — говорит, — что, из наших рабочих?

Нет, я особенно не смутился. Думаю — успею дать тигаля. Тем более — кругом народу нету, и забор близко. И поэтому ствечаю с некоторым даже нахальством:

— Нет, не из рабочих, но имею мечту на нечто подобное.

Он говорит:

— А к примеру, зачем же ты в руку сыр взял?

Я говорю не без нахальства:

— Хотел, знаете, этот сырок попробовать, — сдается мне, что он перележалый.

Вижу — управляющий даже растерялся от моих слов. Даже видать, что не понимает, что к чему.

Он говорит:

— Как это? Почему перележалый? Ты что, специалист по молочному хозяйству?

Я думал, он шутит, чтоб себя разозлить и покрепче меня ударить. И говорю:

— Вы угадали. По молочному хозяйству я есть первый специалист города Москвы. И мимо этих молочных продуктов не могу пройти, чтоб не попробовать.

Вдруг управляющий улыбается, жмет мне руки и говорит:

— Голубчик....

Он говорит:

— Голубчик, если ты специалист, то я тебе дам преогромное жалование, только сделай милость, становись скорей на работу. Тут на-днях заграничный пароход приходит, надо груз отправлять, а рассортировать товар и его попробовать некому. И сдается мне, что иностранная буржуазия наглотается негодных продуктов и после неприятностей не оберешься. А у меня, как на зло, один специалист холерой заболел и теперь категорически не хочет ничего пробовать.

Я говорю:

— Хорошо. Могу. А что надо делать?

Он говорит:

— Надо попробовать шестьсот двадцать бочек масла и тысячу кругов сыру.

У меня даже желудок задрожал от голоду и удивления, и я отвечаю:

— Пожалуйста. Об чем речь. Принесите мне буханку хлеба, и я сейчас к этому приступлю с преогромной радостью. Я, — говорю, — давно мечтал именно такую профессию себе найти— пробовать.

Он говорит:

— Тогда я сомневаюсь, что ты есть лучший в мире специалист по молочному хозяйству. Молочные продукты пробуют без хлеба и без ничего, иначе не узнаешь, какой есть именно сорт и какой именно вкус.

Тут я рижу, что засыпался, но говорю:

— Это я сам знаю. И вы есть толстобрюхий дурак, если не понимаете. Я хлеб не для еды буду употреблять, а мне надо соприкасать эти два продукта, в силу чего я увижу окисление и тогда, попробовав, не ошибусь в расчете, какая там есть порча. Это, говорю, есть последний заграничный метод.

Тут меня торжественно ведут туда и сюда. Записывают.

Кормят. Одевают в белый балахон и называют таким специальным уклончивым наименованием — дегустатор.

И вот с этого дня начинаются мои мученья.

Профессия глупая и бестолковая. Надо пробовать масло особой такой тонкой ложечкой. Надо подковырнуть масло из глубины бочки и пробовать его. И чуть маленько горечь или не то достоинство, или там муха, или излишняя соль, — надо браковать, чтоб не вызвать недовольства среди мировой буржуазии.

Нет, сразу конечно, я не понимал разницы — каждое масло мне нравилось, но после кое-чему научился и стал даже покрикивать на управляющего, который чересчур был доволен, что нашел меня. И даже написал своему владельцу письмо, где наплел про себя разные истории и просил себе надбавку или там какой-нибудь трудовой орден за отличные дела.

Так вот, конечно, первые дни мне профессия нравилась. Бывало, отхватишь сыру да навернешь масла, — лучше, думаю, работы и не бывает на земном шаре.

После вижу — что-то не того.

Через две недели я начал страдать, вздыхать и мечтал уже с этим расстаться.

Потому за день напробуюсь жиров, и глаза ни на что не глядят. Хочешь чего-нибудь скушать, а душа не принимает. И внутри как-то тошно, жирно. Никакая пища не интересна, и жизнь кажется скучной и бестолковой.

И при этом еще строго запрещалось пить. Никакого вина или там водки нельзя было в рот брать. Потому алкоголь отбивает вкус, и через это можно натворить безобразных делов и перепутать качество.

Короче говоря, через две недели я ложился после работы вверх брюхом и неподвижно лежал на солнце, рассчитывая, что горячее светило вытопит у меня лишний жир и мне снова захочется ходить, гулять, кушать борщ и так далее.

А был там у меня в этих краях один приятель. Один прекрасный грузин. Некто Миша. Очень чудный человек и душевный товарищ. И был он тоже дегустатор, пробольщик. Но только в другом деле. Он пробовал вино.

Там в Крыму были такие винные подвалы — удельного ведомства. Вот там он и пробовал.

И профессия его, чересчур бестолковая, была даже хуже моей.

Ему даже есть не разрешалось. С утра до вечера он пробовал вино и только вечером имел право чего-нибудь покушать.

Меня мутило от жиров и в рот ничего не хотелось взять. И выпить не разрешалось. И аппетита не было.

А у него наоборот. Его распирало от вина. Он с утра насосется разных крымских вин и еле ходит, и прямо свет ему не мил.

Вот в другой раз встретимся мы с ним вечером — я сытый, он пьяный, — и видим — наша дружба ни к чему. Говорить ни о чем неохота. Он хочет кушать, я, наоборот, хочу выпить. Общих интересов мало, и вкус во рту премерзкий. И сидим мы вроде как обалделые, и в степь глядим. А в степи — ничего. А над головой — небо и звезды. А где-то, может быть, идет жизнь, полная веселья и радости.

Вот я ему однажды говорю:

— Надо, — говорю, — уходить. И хотя у меня контракт до осени, но я безусловно этого не выдержу. Я отказываюсь кушать масло. Это унижает мое достоинство. Я смотаю удочки, стибрю круг сыру — и только меня толстобрюхий управляющий и видел.

Он говорит:

— До осени уходить не расчет. Работы сейчас не найти. А надо нам с тобой чего-нибудь такое оригинальное придумать. Дай срок — я подумаю, голь на выдумки хитра.

И вот однажды он мне и говорит:

— Знаешь чего? Давай временно поменяемся профессией. Давай я буду пробовать масло. А ты пробуй вино. Неделю или две поработаем так, а после опять поменяемся. А потом опять. Вот оно и получится как-будто ничего себе. И, главное, отдохнем, если они, черти, не дают отпуска, а заставляют без отдыха жрать и пить.

Я очень радуюсь этим словам, но выражаю сомнение, что наши управляющие не захотят этого.

Он говорит:

— Это я берусь уладить.

И вот берет он меня за руку и ведет к своему управляющему по винной части.

— Вот, — говорит, — этот низенький опытный господин смело может меня заменить на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать. А он за меня будет пробовать и соблюдать ваши интересы.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, какие тут вина и как и чего надо делать. И через две недели возвращайтесь. А то мы натворили тут делов. Заместо столового вина взяли «Аликоте» в Москву отправили. Безобразие.

Вот тогда я, в свою очередь, беру Мишу за руку и веду его к своему толстобрюхому управляющему.

— Вот, — говорю, — этот высокий опытный господин смело может заменить меня на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала. И я интересуюсь ее повидать и покалякать с ней о разных разностях.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему как и чего и через две недели приезжайте. А то и так у нас беспорядок. Заместо сливочного масла отправили в Персию сметану. Персы могут обидеться и не захотят ее кушать.

Вот стали мы на свою новую работу.

Я пробую вино. А Миша пробует масло.

Но тут с нами происходит чушь и неразбериха.

В первый же день Миша наедается масла и сыру до того, что заболевает судорогами. А я с первых же двадцати глотков от непривычки пить до того захмелел, что подрался с Мишиным управляющим. И хотел его в винную бочку поковырнуть за то, что он сказал плохие слова про моего приятеля.

Тут на другой день мне дали по шапке и велели убираться.

И Мише велят убираться и тоже дают ему по шапке.

Вот встречаемся мы с ним и смеемся. Думаем — наплевать. Отдохнули пару дней. И теперь снова можем приняться за свое ремесло.

Но тут случается так, что оба наши управляющие снюхались и узнали весь наш обман, и какие у нас две недели, и какая у нас тетка в Тифлисе, и какой у нас опыт.

Оба они призывают нас, кричат страшными голосами и велят убираться.

Нет, мы особенно не горевали. Я взял круг сыру, а Миша вина. И всю дорогу мы шли и пели песни. А после устроились на другую работу.

А вскоре разразилась война. Потом революция. И я потерял своего друга из виду.

А недавно узнаю, что он проживает на Кавказе и имеет хорошую чудную командную должность.

И я мечтаю к нему поехать. Мечтаю встретить его, поговорить и сказать ему: молодец.

Ох, он, наверное, обрадуется, когда увидит меня. Тоже, может быть, скажет мне: молодец. И велит подать лучший шашлык.

Тут мы с ним будем кушать и вспоминать, кем мы были и кем стали.

Г. МИРОШНИЧЕНКО

ТЮГУЛЁВКА

АВТОЛИТОГРАФИИ Н. ТЫРСЫ

1

Настоящая весна пришла только с первым дождем. Над Кубанью спустились широкие и темные, как пыль, дождевые рукава. Забулькали лужи. Стало темно. Так темно, что еле виднелись дома через дорогу.

Мы с Васькой стояли под навесом кондратьевских номеров и выжимали из слинявших рубах синие ручьи воды.

Вдруг из-под соседнего навеса к нам перебежали два казачонка в плисовых штанах. Тоже мокрые, будто прилизанные.

Один, побольше, нагнул голову в мокрой папахе и, оглядев Ваську, спросил:

— А ты чей?

— А тебе на что?

— Иногородний?

— Казак.

— Врешь, по штанам вижу и по рубахе, что иногородний. Казаки в таких рядюшках не ходят. Говори, где живешь?

— У чорта на куличках, у куркуля в хате, а тому, кто спрашивает, — дуля, — спокойно сказал Васька, скручивая рубаху жгутом и выжимая из нее последние капли.

— А мы с обыском к вам пойдем, — сказал другой казачонок, щуплый и пониже ростом.

Васька засмеялся.

— Ты сперва штаны подтяни, атаман кубанский, кукуруза на учкуру! Мандат у тебя есть на обыскные права?

— Найдется, — глянь-ка сюда!

Васька и моргнуть не успел, как казачонок в белой папахе огрел его свинчаткой по голове.

Васька скорчился и схватился руками за голову.

На соседнем крыльце крикнули:

— Ай-да белая папаха! Ай-да молодец! А ну-ка, другого по уху стебни!

Я оглянулся и увидел, как, сгибаясь под проливным дождем, бегут к нам еще двое казачат, а за ними рослый бородатый казак в черкеске с белыми газырями. Я быстро перемахнул через дорогу. Васька кинулся было за мной, но поскользнулся и шлепнулся в лужу. Из-под рубашки у него выскользнул револьвер.

Казачонок в белой папахе в один миг налетел на револьвер, как ястреб на ящерку.

— Оружие!

Васька вскочил, схватился за дуло револьвера, но бородатый пнул его ногой. Васька выпустил револьвер из рук и опять плюхнулся в грязь.

Казачонок сел на него верхом и стал месить его как тесто в макитре.

А бородатый казак вертел в это время перед самым носом Васькин револьвер и бормотал:

— Бульдог! Нет, не бульдог, пожалуй, — бульдог покороче и потолще будет. Это не иначе как стейер. Да нет, у стейера головка пуговкой. А этот какой-то... разломчатый.

Я прислушивался из-за угла и думал: что делать? За поясом под рубахой у меня тоже был револьвер, только не смит-и-вессон, как у Васьки, а браунинг.

Пустить бы из этого браунинга бородатому семь пуль в лоб — да не уйдешь потом. Только Ваську погубишь.

Вдруг слышу — кто-то за углом говорит:

— А другой куда утёк? Тот, что побольше был? Шукай его, хлопцы!

Я шмыгнул в первый попавшийся двор и оттуда, через заборы и переулки, вернулся с другой стороны к кондратьевским номерам.

Там теперь выросла целая толпа — казаки, женщины, ребята. Все галдели, перебивали друг друга, размахивали руками.

— Чумака зацапали, комиссара большевицкого! — выкрикивала круглоголовая коренастая казачка.

— Дура! Какой там комиссар большевицкий! — сказал высокий старик в поддевке, выбираясь из середины толпы. — Хлопца от земли не видать, а его в четыре руки держат.

— Знаем мы этих хлопцов! — затрещала казачка. — С бомбой его накрыли — хлопца твоего!

— Дура! — спокойно сказал старик. — Какая там бомба— револьвер нашли, азиатской какой-то системы, да и то не заряженный.

— Дорогу! — гаркнул хриплый голос из толпы.

Толпа расступилась.

Краснорожий молодой казак с винтовкой вытолкнул Ваську и погнал его по дороге к станице.

Васька не плакал, а только всхлипывал. Губа у него была рассечена, глаза залеплены грязью, распухли. Одно плечо голое, — рукав болтался на ниточке.

— Ну, ну, босота, шагай веселее! — сказал казак, толкая Ваську в спину прикладом. Васька дернул плечом и остановился.

— Не дерись! — закричал он. — А то вот стану средь дороги и с места не сойду!

Казак посмотрел на Ваську с удивлением.

— Ишь, какой самолюбивый! Ну, иди, иди, а то волоком потянем.

Васька пошел.

В этот день Васька не вернулся домой. Отцу и матери его я ничего не рассказал, боялся, что заругают. Скажут: завел парня, а сам сбежал.

А что я мог поделать? Ведь их там вон сколько было, да еще с винтовками, а я один.

Целый день думал я, что теперь с Васькой будет. Может, его доведут до станицы, постращают и отпустят, или он сам с дороги сбежит, а может быть — его до смерти засекут. А то еще хуже будет: приведут его к атаману, начнут стегать, а он со страху да от боли весь наш партизанский отряд выдаст.

Всю ночь прислушивался я, не хлопнет ли калитка. Нет, не хлопнула, не пришел Васька из станицы.

На другое утро я сам пошел в станицу искать его.

После вчерашнего дождя итти было хорошо. Погода свежая, солнечная, дорожки утоптанные. День был праздничный. На ступеньках крылечек красовались разодетые девки-казачки, а на перилах будто на конях сидели веселые парни.

Отмахиваясь палкой от собак, я шел посреди дороги и думал: где-то мне искать Ваську? В правление зайти или к тюрьме подобраться, в окошки поглядеть?

В правлении со мной, конечно, и разговаривать не станут, а если и станут, так ничего хорошего не скажут. Возьмут да и посадят в «тюгулёвку», — так у них каталажка называлась. А если Ваську по тюремным окнам искать, так, может, и вовсе не найдешь. Он маленький, его всякий от окна ототрет, да и часовые смотрят.

Подхожу к правлению.

Со всех сторон облепили белый каменный дом кряжистые казаки. Сидят как в гостях у царя. Кто побогаче, тот на порожках сидит — поближе к атамановой двери. Кто победнее, — на нижних ступеньках. Курят, доставая из расшитых кисетов табак.

Толкуют о новом станичном атамане, о старых казачьих

порядках, да почем свинья на базаре, да у кого строевая кобыла хороша. Молодежь тут же вертится, прислуживает старикам — кто бегает в лавочку за брагой, кто чиркает спичкой, если у старика трубка не дымит.

Напротив, возле церкви, стоят высокие, обмазанные дегтем столбы. Это виселицы.

Я юркнул во двор. Там у длинного дощатого барака с маленькими решетчатыми окошками шагали казаки-часовые.

Обхожу барак кругом. Может, с задней стороны удастся заглянуть в окна.

Иду. Никто не трогает — то ли потому, что у меня на голове черная казачья шапка, то ли просто не замечают меня.

Останавливаюсь и вдруг вижу — из самого крайнего окошка кто-то машет рукой.

Подхожу ближе. Васька!.. Ну да, Васька! Такой же грязный и распухший, как был вчера, только синяки на нем позеленели и пожелтели. В окошке одна его голова видна да рука. Машет он мне рукой, — уходи, мол.

Я и сам вижу, что непременно уходить надо: прямо на меня часовой идет с винтовкой наперевес.

Шмыгнул я в ворота, думаю: вот и удрал. Вдруг чья-то грузная рука стукнула меня по плечу.

— Постой, голубчик, не торопись. Я тебя знаю.

Смотрю — это казак бородатый, тот самый, что вчера Ваську в лужу повалил. Схватил он меня за шиворот и поволок вверх по широким ступенькам.

Старики, сидевшие на атаманском крыльце, поднялись и загалдели.

Не успел я дух перевести, как очутился в коротком и темном коридоре. Бородатый толкнул плечом дверь и ввалился со мной вместе в просторную комнату.

Посредине комнаты — стол, вроде кухонного, со шкафчиками. У стен в пирамидах винтовки.

— Здравия желаю, атаман, — сказал бородатый, подталкивая меня к столу, за которым сидел рябой казак с костяной трубкой во рту.

— Здорово, Поликарп Семенович, — сказал рябой казак, не вставая с места. — Кого привел?

— Шпиёна большевицкого.

— Ишь ты, — сказал рябой. — Молоко на губах не обсохло, а тоже шпиёнит. Ну, шпиёнам у нас первый почет, высоко их подымаем, чуть не до самого неба. Видал столбики черные — вон там за окошками?

— Дядя, — взмолился я, — пусти, я не виноват. Мать послала к знакомым. За хлебом, за салом... Она меня ждет... Дома все голодом сидят.

Атаман повернул рябую морду в мою сторону, сплюнул под стол и сказал:

— Казак?

— Иногородний.

— Почему?

— Да так уж... не знаю.

— Не знаешь?

— Ей-богу, не знаю.

«Чорт его знает, почему я иногородний», подумал я.

Атаман замолчал и стал зачем-то выдвигать и задвигать ящики стола. Ящиков было штук двенадцать.

Бородатый тоже постоял, а потом сказал:

— Этого хлопца я еще раньше заприметил. Он со вчерашним с одной шайки.

— С которым? — спросил рябой. — С тем, что Сидора Порфирыча за палец укусил? Горячий хлопец, норовистый. А нука, тащи и того тоже сюда. Нехай поздоровкаются.

Бородатый повернулся на каблуках и вышел за дверь.

Мы с атаманом остались одни в комнате.

Атаман медленно выдвинул средний, самый большой ящик

стола и засунул в него руку чуть ли не по самое плечо. Пошарил, пошарил в ящике, отряхнул ладони и полез в другой ящик.

Я все стоял и думал: что это он в ящиках ищет?

Вдруг атаман сполз со стула, присел на корточки и стал выдвигать самый нижний ящик. Ящик долго не поддавался, потом наконец с треском открылся. Атаман заглянул в него как-то сбоку и громко чихнул прямо в ящик.

Оттуда столбом полетела сухая табачная пыль. У меня защекотало в носу, сперло дыхание, и я громко чихнул.

Атаман поднял голову и уставился на меня круглыми стеклянными глазами.

— Ты что тут расчихался? — спросил он сердито. Но вдруг глаза у него стали маленькие, нос сморщился, и он сам чихнул громче моего.

— Апчхи! — чихнул атаман.

— Апчхи! — чихнул я в ответ.

В это время дверь открылась, потянуло сквозняком, и по комнате тучей понеслась табачная пыль.

В дверях кто-то тоже зачихал в два голоса. Это были Васька и бородатый. Васька чихал как кошка, а бородатый как лошадь.

Атаман быстро задвинул ящик стола и закрыл окно. Табачная пыль понемногу улеглась.

— Вали сюда, — сказал атаман и запыхтел трубкой.

Васька подошел. Одной рукой он поддерживал оторванный рукав, другой — штаны.

— Скажи, ты его знаешь? —спросил атаман у Васьки.

— Нет, — сказал Васька, не глядя на меня.

— Он к тебе в гости пришел, а ты, дурак, отказываешься. Нехорошо. Этак приятеля и обидеть можно. Он вот о тебе все беспокоится, говорит: ты с ним с одного отряду.

Васька вздрогнул и повернул ко мне голову.

— Да, да, — сказал атаман, — дела у вас большие затеяны. Да от нас никуда не денешься.

— Всё знаем, — поддакнул бородатый.

Я смотрел на Ваську в упор — хотел, чтобы он по моему взгляду догадался, что атаман его на крючок ловит.

Но Васька ничего не понял. Васька стоял бледный, испуганный.

Вдруг атаман вытаращил глаза, вытянул шею и сказал сиплым шопотом:

— Дружок-то твой со всеми потрохами тебя выдал... Мы с ним с глазу на глаз беседовали...

Тут я не утерпел — дух у меня от злости перехватило.

— Брешете вы всё! — закричал я атаману. — Не беседовали мы с глазу на глаз, а только чихали... Чего вы тут удочки закидываете?

У атамана даже трубка изо рта выпала.

— Чихали, говоришь? — сказал он, поднимаясь медленно на локтях. — Ну, так ты у меня еще нанюхаешься. Посадить обоих!

Бородатый схватил меня и Ваську за шиворот, стукнул лбами и выволок за двери.

2

В станичной тюрьме, в длинном дощатом сарае, на голых нарах и на земле валялись, как мешки, арестанты. Тюрьма мала. Людей много.

В правом углу сидел съежившись старик. Часами он смотрел в одну точку не шевелясь.

Мы с Васькой узнали его. Это был Лазарь Федорович Полежаев, а по-уличному Полежай. С осени мы его не видели. Переменился он за это время, постарел. Сидит — слова не скажет, а раньше на всех митингах первый оратор был.

В рыженькой поддевке, курносенький, подымется, бывало,

Полежай на помост посреди площади, сгребет с головы заячью шапку и поклонится старикам. А потом как пойдет рубить — и против атамана говорил, и почему иногородние на казаков работают, а сами надела не имеют, и где правду искать, — от всего сердца говорил.

Грамотный был старик, умный. С учителем, с попом, бывало, срежется насчет обманов всяких — так разделает их, что им и крыть нечем.

И откуда он всего этого набрался, — неизвестно. Весь век в железнодорожной будке на путях проторчал, — путевым сторожем был.

А теперь он камнем сидел в углу. Только когда на пороге тюрьмы появлялся дежурный, старик подымал голову и прислушивался.

Дежурный вызывал арестантов по фамилии. Одних — к атаману на допрос, других — перед атамановы окна на виселицу.

В первый же день моего ареста дежурный вызвал Швецова и Олейникова.

— Швецов, выходи! Олейников, выходи!

Из разных концов барака вылезли двое, — один в полушубке и засаленной кубанке, другой в серой шинели и в картузе. Они потоптались перед дверью, будто раздумывали, итти им или не итти, потом оглянулись на тюрьму и быстро перешагнули через порог.

— Этих повешают, — сказал Полежай, подымая голову.

— А за что? — спросил Васька.

— Один красноармеец пленный, — сказал он, — а другой станичник, казак.

— А чего же они своих казаков вешают? — удивился Васька.

— Казак-то он казак, да не свой, — ответил старик.

Больше Полежай ничего в этот день не сказал.

Мы с Васькой первые ночи спать не могли. Было душно. Над дверью мигала коптилка — фитилек в банке. Вся тюрьма шевелилась, кряхтела и чесалась.

Мы тоже чесались и ворочались с боку на бок.

Потом привыкли и стали засыпать, как только стемнеет.

А днем мы с Васькой вертелись, как белки в колесе. К каждому суемся, с каждым заговариваем. Людям в тюрьме делать нечего, — всякий был рад поговорить.

Аким Власов, бывший конюх и кучер станичного совета, рассказывал нам с Васькой про Тюрина, председателя станичного совета.

Аким возил летом Тюрина на тачанке, зимой на санях с подрезами. Разъезжали они по станицам, брали у богатых хозяев контрибуцию — по сотне мешков чистосортной кубанки, по паре серых коней и выдавали расписочки без штампа и печати, с одной только подписью «Тюрин».

Хозяева вертели расписочки в руках, вздыхали, а потом отворачивали полу черкески, выуживали из глубокого кармана штанов самодельный кошель-гомонок, обмотанный ремешком, и совали в него тюринскую квитанцию.

А кони и пшеница доставались станичной бедноте — кому бесплатно, а кому за малую цену.

— Ну и председатель был, — говорил Аким, морща лоб.— Башковитый. Другого такого не будет. Скажет мне, бывало: «А ну-ка, Аким, слетай на Низки, притащи ко мне Спиридона Хаустова, я с него душу выну... Контрреволюция! Хлеб запрятал!» Ну, я и махну на своих вороных. Только въеду во двор к Спиридону, а он уже на порожках стоит, трясется и кланяется. Акима Власова все станицы знали — не хуже самого Тюрина.

Аким вставал с заплеванного земляного пола, на котором мы лежали вповалку, смахивал с рукава налипшую солому, одергивал рваный и почерневший полушубок.

— Да, — говорил Аким задумчиво. — Покланялись нам Хаустовы. Да мы-то чересчур добрые с ними были, надо было каждому вместо расписочки пулю в лоб. А мы их, сволочей, в живых оставляли. Вот теперь они над нами издеваются.

Любил Аким рассказывать. Как разойдется, так не остановишь.

Другой наш сосед, Климов, был такой же неразговорчивый, как Полежай. Зато он ловко мастерил нам лошадей, коробочки, санки, мельницы.

Возьмет пучок соломы и начнет вязать: вот тебе туловище коня, а вот голова. Теперь надо ушки воткнуть, а потом голову к туловищу привязать.

Хорошие выходили у него лошадки, даже на всех четырех стояли, — только некрасивые, рябенькие, потому что из соломы.

Был Климов кузнец — у железнодорожного моста в кузнице работал. Когда товарищи отступали, он красноармейских коней ковал, — за это его сюда и взяли.

Баловали в тюрьме нас с Васькой, как будто мы всем сыновьями приходились. Хлеба нам давали, сала давали, а иной раз и курятины кусочек, если кому из дому принесут.

На четвертый день вызвал надзиратель старика Полежая:

— Полежаев, выходи!

Васька даже задохнулся от испуга, а у меня кровь похолодела. А Полежай будто знал, что его сейчас вызвать должны. Поднялся, застегнул поддевку на все крючки и пошел к выходу с шапкой в руке. Мешок его и жестяной чайничек так в углу и остались.

— Неужто повесят? — спросил Аким Власов.

— Ясное дело, повесят, — сказал Климов.

— Да ведь ему до своей смерти три дня осталось.

— Хоть бы день остался, а если надумали, — значит, повесят.

До самого вечера мы на дверь смотрели. Когда уже все укладывались спать, Полежая внесли на руках двое казаков. Они донесли старика до его угла и бросили, как чурбак, на солому. Старик сопел и мотал головой.

— Крепкий у вас дедушка, — сказал караульный. — Тридцать плетей принял, а еще дышит.

И верно, Полежай еще дышал. Дышал быстро и громко, как в лихорадке.

В тюрьму тискали все новых и новых людей. Воздух в бараке стал тяжелым, едким.

Даже Аким Власов приуныл и замолк. Мы тоже перестали шнырять по бараку и заговаривать с людьми. На прогулку нас не пускали. А на улице уже была, верно, полная весна. Двор по углам позеленел.

— Константинов! Выходи! — крикнул однажды дежурный.

Никто не отозвался.

— Константинов, выходи! Чего мнешься? — крикнул еще раз дежурный.

«Кто же тут Константинов?» подумал я. Совсем я позабыл Васькину фамилию. Да и он сам не сразу сообразил, что это он — Константинов.

Только когда дежурный в третий раз вызвал его, Васька вскочил, огляделся кругом, — будто ждал помощи, — и пошел, переступая через лежащих людей, к двери.

— Не трусь, Вася. Авось, обойдется! — шепнул я ему вслед.

Не успел дежурный закрыть дверь за Васькой, вся тюрьма зашумела.

— Храбрецы кубанские, — хрипел Полежай. — С детьми им только и воевать...

Аким подсел ко мне и стал утешать меня как маленького.

— Не горюй, Гриша, его, может, только на допрос позвали. Покричат и отпустят. Что с него взять?

В это время опять громко звякнул засов. Опять вошел дежурный надзиратель.

— Ми-рош-ни-ченко! Выходи!

Моя очередь. Так я и думал. Пошатываясь, перешагнул я через перекладину порога. Ну и легкий же воздух! Дохнешь — и будто тебя сразу в сон бросает. Небо чистое. По зеленой церковной крыше воробьи скачут. Если бы не мой конвойный, пробежал бы я теперь без остановки верст пятнадцать одним махом. Побежал бы на Кубань, сиганул бы с кручи прямо в речку, — даром, что вода еще холодная, — проплыл бы ершом под водой и вынырнул на самой середине Кубани. Ох, и хорошо оттуда смотреть на мост железнодорожный, на другой берег, где густые кустарники, на станицу. А еще лучше растянуться после купанья в том месте, где Зеленчук впадает в Кубань. Там трава мягкая, а камни теплые. Вот бы поспать вволю!

Вдруг небо надо мной потемнело, церковь покосилась, зашатались дома.

Я ухватился за рукав часового, чтобы не упасть. Это у меня от ходьбы и от воздуха голова закружилась.

— Чего чепляешься? — заорал во всю глотку часовой, видно, испугавшись. — Стой на своих ногах, а то я тебя прикладом долбану.

Я перевел дух и поплелся дальше, еле волоча ноги. Мы поднялись по знакомому крыльцу и вошли в коридор. Дверь к атаману была открыта настежь.

Атаман сидел на прежнем месте, будто с того раза не вставал. Прямо перед ним стоял Васька, а сбоку Васькин отец, Илья Федорович.

У дверей и окон выстроились казаки с винтовкой к ноге.

Атаман медленно читал бумажку:

«Мы, станичники, сего апреля тринадцатого дня во время дождя... около станции железной дороги обнаружили шпиёна, у которого обнаружен в правом кармане штанов револьвер, коего система неизвестна, а на вид белый, одноствольный, пятизарядный, заряжается при посредстве разлома рук. Что подписью руки заверяем станичники Пересунько, Юдин, Дериземля, Новохатский, Бородюк».

— Что скажешь? — спросил атаман у Ильи Федоровича.— Вот тебе документ, а вот и вещественное доказательство. — Атаман выдвинул ящик стола и достал оттуда Васькин смит-и-вессон. — Теперь вопрос: откуда у несовершеннолетнего огнестрельное оружие? Проще сказать: откуда он его достал?

Илья Федорович пожал плечами.

— Да почем я знаю, откуда он достал. Может, ребята ему дали, а может он и в поле нашел. Мало ли их там валялось! Делать ребятам нечего, вот они и рыщут, — хоть к чорту в трубу залезут.

Атаман сидел, откинувшись назад, и тер желтыми от табака пальцами впалые рябые щеки, крючковатый нос, острый, гладко выбритый подбородок.

От времени до времени он поглядывал на меня воспаленными глазами, будто что-то вспоминал.

Вдруг он стукнул кулаком по столу. Пузырек с чернилами подпрыгнул.

— Так вот оно как! Револьверы в поле находите? Чтой-то мне не случалось находить. Верно, мне счастье в руку не идет. А тебе, Поликарп Семенович, попадался где-нибудь на лужку стейер какой-нибудь или там маузеришко?

— Никак нет, — ответил бородатый казак басом.

Другие казаки загоготали.

— То-то что нет, Кабы оно валялось на дороге, так и оружейных заводов не нужно было. Посылали бы баб вроде как по ягоду живику. Собирай, мол, в торбу. Тут же на кусточке и

патрончики растут, а глядишь — и пулеметик, что грибочек, из-под земли вылез. Так ведь? Ну, чего молчишь, говори, много ли ваши деповские пулеметов да винтовок после дождя насбирали?

Илья Федорович нахмурился и нетерпеливо махнул рукой.

— Чего зря время терять, — тихо сказал он, не глядя на атамана. — Позвали как по делу, а сами сказочки рассказываете. Либо отпустите, либо допрашивайте.

— Отпустить? — спросил атаман, хитро улыбаясь. — Я бы тебя отпустил, — на что ты мне сдался? Да как бы они тебя у двери не задержали!

Атаман кивнул головой на казаков.

Казаки, как по команде, грохнули об пол прикладами.

— Не пустят, говорят, — сказал атаман.

У Ильи Федоровича так и заходили скулы. Но он ничего не ответил. Да и что было отвечать!

Долго продержали нас у атамана на этот раз. Меня и Ваську почти совсем не допрашивали. Одного Илью Федоровича мучили. Он даже вспотел весь, но держал язык за зубами, не горячился. С того места, где он стоял, хорошо было видно виселицу.

Вдруг атаман выпрямился во весь рост.

— Так ты ровно ничегошеньки не знаешь? А кто со станции, из комендантской винтовки потаскал — знаешь?

— Не знаю, — сказал Илья Федорович.

Атаман вышел из-за стола и подошел к Илье Федоровичу.

— Так. А кто платформу с булыжником на броневик спустил? Кто в мастерских народ баламутит, через фронт к большевикам рабочих переправляет? Это ты знаешь?

Илья Федорович только шевелил побелевшими губами.

Атаман замолчал и придвинулся к нему еще ближе

— А кто в буксы песочек сыплет — знаешь? Стерва ты этакая большевицкая!

Атаман схватил со стола Васькин револьвер и, размахнувшись, ударил Илью Федоровича по глазу.

Илья Федорович и Васька закричали в одно и то же время.

Илья Федорович сразу утих, а Васька кричал долго, топал ногами, мотал головой.

— В конюшню их! — крикнул атаман. — К стенке!

У Ильи Федоровича широкой полосой текла по лицу кровь.

Он вытер ее рукавом и вместе со мной и Васькой пошел к дверям.

— Стреляйте троих сразу! — крикнул атаман вдогонку.— А перед смертью покрепче допросите. Может, еще сознаются, тогда по домам пустим.

Нас пригнали в пустую темную конюшню, завязали глаза, провели шага два-три и остановили.

— Расставляй, — кричат, — ноги шире!

Я не успел расставить ноги, — мне их раздвинули силой.

— Становись! — скомандовал бородатый. Это не нам он скомандовал, а казакам.

— Заряжай!

Затворы щелкнули.

«Неужели уже расстреливают? А допрос?» подумал я.

— Залп! Пли!

Грохнуло.

Я качнулся вперед, но устоял на ногах. «Жив, что ли?» спрашиваю сам себя и не верю. Щупаю руками живот, грудь, плечи. Думаю, — в крови у меня все. Нет. Руки сухие. И не болит ничего. Может, это вгорячах не чувствую? Может, у меня нога не действует? Двигаю правой ногой, поднимаю левую. Значит, жив и не ранен. Промахнулись. А как, думаю, Илья Федорович и Васька? Может, лежат оба. Ведь рядом Васька стоял, когда нам глаза завязывали. Дай-ка его ногой нащупаю.

Протянул ногу вправо, а Васька тоже меня ногой толкает.

— Ну и стрелки! — говорит бородатый. — Под самым носом человека убить не могут. Значит, счастье ваше, товарищи деповские! Перед второй смертью, может, еще поговорите?

Сняли у нас с глаз повязки и стали опять допрашивать.

Опять никакого толку от нас не добились.

— Расстреляем! — кричит нам бородатый. — Ей-богу, расстреляем! Первый раз мы вам, по совести сказать, промеж ног стреляли, а теперь прямо в лоб метить будем. Сознавайтесь лучше загодя.

Долго еще морочил нам голову казак. Уговаривал, пугал. То к стенке опять ставил, то полено в руки хватал и грозился темя Илье Федоровичу раскроить. Мы ко всему привыкли.

Ясно было — пугают они. Кабы в самом деле собирались расстрелять, давно бы расстреляли.

А то так — волынка какая-то. Стращают, выпытывают. Только не дождаться им от нас ни черта. Ничего такого они про нас не знают, а сознаваться — мы ни в чем не сознаемся.

Держимся все трое крепко.

— Ну, чорт вас забери, — сказал бородатый. — Поживите денёк в тюгулёвке, а завтра расстреляем.

Прожили мы в тюгулёвке и день, и два, и три, и четыре. Про нас будто забыли.

У Ильи Федоровича рана под глазом оказалась неглубокая. Аким Власов отодрал от своей старой рубахи рукав и перевязал ему глаз.

А Васька совсем переменился. Нервный стал. Чуть что не по нем — дергается весь и плачет, как маленький.

— Чего ты тут слезу пускаешь? — подтрунивал над ним Илья Федорович. — Под винтовками стоял — не ревел, а тут из-за коня соломенного расстраиваешься. Эх, ты, герой!

На пятый день после расстрела вызвали нас к атаману.

Атамана самого на этот раз в правлении не было. Черноусый, моложавый казак сидел за его столом.

Когда мы вошли, он протянул Илье Федоровичу бумагу и сказал:

— Распишись о невыезде со станции и ступай себе домой. Да смотри, чтоб в мастерских всё в порядке было. Говорят, ты мастер хороший, а нам такие люди пока что нужны. А этих хлопцев дома на привязи держи. Если что — ты за них отвечать будешь. Ну, до свиданьица.

Казак приподнялся и протянул Илье Федоровичу руку с бирюзовым перстнем на пальце.

Мы вышли из правления и минуту постояли у крыльца. Не верилось даже, что нас вправду домой отпускают.

— Ай-да, хлопцы! — сказал Илья Федорович. — Теперь, значит, сто лет проживем — расстрелянные. А этим гадам я наработаю в мастерских. Уж поблагодарят!

ЕВГЕНИЙ ЧАРУШИН

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

АВТОЛИТОГРАФИЯ ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА

МЕДВЕЖАТА

Есть такая деревня, называется Малые Сосны. Малые не потому, что сосны в лесу невелики, а потому, что ближняя деревня, что за восемь верст, зовется Большие Сосны. В отличие, значит, от той.

В самом непроходимом лесу эти Малые Сосны. Дремучий кругом лес. Ели мхом обросли, бородатые стоят. Сосны в самом небе ветви раскинули. Осинник в сырых местах как частокол наставлен. И вся чаща в трухлявой валёжине, в сырости. Не продерешься через нее. Только лосям длинноногим и ходить тут, через валежник перешагивать.

Вот в этих-то лесах и убили зимой медведицу. В берлоге убили.

А медведица недавно во сне двух медвежат родила. Медведицы, они в берлоге сонные щенятся.

Медвежат обоих охотники в шапку положили — оба поместились в шапке. Маленькие они были, чуть глядели еще.

Принесли их зимой в деревню Малые Сосны к Прасковье Ивановне в избу. Ее-то муж как раз и убил медведицу.

Принесли медвежат в избу, сунули под лавку, на овчину, на старый тулуп. Там и стали они жить.

Прасковья Ивановна сама им соски сделала. Взяла две бутылки, теплого молочка налила и тряпочками заткнула.

Вот и лежат медвежата с бутылками. Спят, посасывают молоко, причмокивают и растут понемногу.

Сначала с тулупа не слезали, а потом и по избе стали ползать, ковылять, кататься — все подальше да подальше.

Благополучно растут медвежата, ничего себе.

Только раз медвежонок один чуть не помер с перепуга — кур принесли в избу. Мороз был на дворе такой, что вороны налету замерзали, — вот кур и принесли, чтоб от холода упрятать. А медвежишко выкатился из-под лавки на них посмотреть. Тут петух на него и наскочил. И давай трепать. Да как трепал! И крыльями бил, и клювом долбил, и шпорами порол, — прямо озверел петух.

Медвежишко, бедняга, только орет, не знает, что ему и делать, как спасаться. Лапами, как человек, глаза закрывает и орет.

Еле его спасли. Еле от петуха отняли. На руки взяли, а петух кверху прыгает. Как собака какая. Еще разок долбануть хочет.

Дня три после того не сходил с тулупа медвежишко. Думали уж, не подох ли? Да ничего, — сошло.

К весне подросли, окрепли медвежата. А летом уж куда больше кошки стали — с маленькую собаку.

Такие озорники выросли. То горшок со стола опрокинут, то ухват спрячут, то из подушки перо выпустят. И под ногами все вертятся, вертятся, мешают хозяйке Прасковье Ивановне.

Стала она их гнать из избы: «Играйте, мол, на улице. Озоруйте там, сколько влезет. На улице большой беды вам не натворить. А от собак лапами отмашетесь или залезете куда повыше».

Живут медвежата целый день на воле. В лес бежать и не думают. Им Прасковья Ивановна стала как мать-медведица, а

изба — берлогой. Как случится, что их обидит или напугает кто-нибудь, — они сейчас в избу — и прямо к себе под лавку, на тулуп.

Хозяйка спрашивает:

— Вы что там, озорники, опять наделали?

А они молчат, конечно, — сказать не умеют, только друг за друга прячутся да глазами коричневыми хитро посматривают.

Шлепнет их хорошенько Прасковья Ивановна, уж знает: что-нибудь да натворили.

А они, и правда, натворили.

Часа не пройдет — стучатся в окно соседи, жалуются:

— Твои, мол, Ивановна, звери всех цыплят у меня разогнали, по всей деревне собирай их теперь.

Или еще что другое.

Взмолится хозяйка:

— Да скоро ли их от меня в город продадут? Нету у меня с ними терпенья.

А в город из Малых Сосен не так-то легко выбраться. Ехать надо километров шестьдесят. Если весной ехать — распутица не пускает: не дороги, а реки грязевые текут. А летом работа держит — тоже не уедешь. Так и живут медвежата непроданные.

Пришел я как-то в Малые Сосны охотиться. Сказали мне, что медвежата тут есть. Я и пошел их поглядеть.

Спрашиваю хозяйку Прасковью Ивановну:

— Где твои медвежата?

— Да на воле, — говорит, — балуются.

Выхожу на двор, смотрю во все углы — нет никого.

И вдруг — ох ты! — у меня перед самым носом кирпич летит. Бац! С крыши свалился.

Отскочил я, гляжу на крышу: вон там они и сидят. Сидят два медвежонка, делом заняты, разбирают трубу по кирпи-

чику — отвалят кирпич и спустят его по наклону, по тесовой крыше.

Ползет кирпич вниз и шуршит. А медвежата голову набок наклонят и слушают, как шуршит. Нравится им это. Один медвежонок даже кончик языка высунул от такого удовольствия.

Я скорей в избу, — спасай, мол, Прасковья Ивановна, трубу-то!

Ну, прогнала она их с крыши, нашлепала хорошенько.

А в тот же день вечером пришли к ней соседи и тоже жалуются: медвежата у трех домов трубы разобрали, да мало, что разобрали, а еще и в трубы кирпичей навалили. Стали хозяйки днем печи топить, а дым не идет куда надо, назад в избу валит.

Уж ничего не сказала Прасковья Ивановна, а только заплакала.

А как собрался я уходить с охоты, стала она просить:

— Сделай, — говорит, — милость, уведи хулиганов моих. Сам видишь, каково мне с ними. Пока маленькие были — ребята как ребята. А теперь гляди, что выросло.

Взял я медвежат и повел в город. Километра два на веревочке вел, а до леса дошел, снял веревочку. Они леса-то сами боятся, жмутся ко мне, отстать не хотят.

Лес-то им чужой, страшный.

Так двое суток мы с ними шли. Дошли до города. Тут я их опять на веревочке повел.

Собак сколько набежало, ребятишек, — да и взрослые тоже останавливаются, смотрят.

Продал я моих малососенских хулиганов в зоосад, а оттуда их прямо в Германию отправили. Обменяли на зебру полосатую, африканскую лошадь.

УТКА-НЫРОК

В ранние морозы, когда на реке и на озерах стал лед, взял я ружье с двенадцатью патронами и пошел на охоту.

К полыньям пошел, где от ключей вода льдом не затягивается.

Думаю, не плавает ли поздняя, пролетная утка, или утка-нырок, гоголь или какая-нибудь там чернядь морская.

Эта дичь, слыхал я, поздно в наших краях кормится.

Вышел я ранним утром, по хорошей погоде, по морозцу.

Чистый, хрупкий снег под ногами. И небо наверху тоже чистое. А за каждым бугорком синяя тень лежит.

Иду, покуриваю, дым с белым паром изо рта пускаю.

И вдруг слышу — палят на реке. Чисто, громко, отчетливо палят.

Бух! Бух! — Не переставая бухают.

Подошел я к берегу и вижу: стоит весь в сером пороховом дыму, как в облаке каком, молодой парень — охотник.

Стоит и в полынью бьет.

А в полынье никого нет — чистота, вода сизая, черная, и рябь по воде ходит.

Кого же это парень стреляет?

А! Вон кого. Вижу.

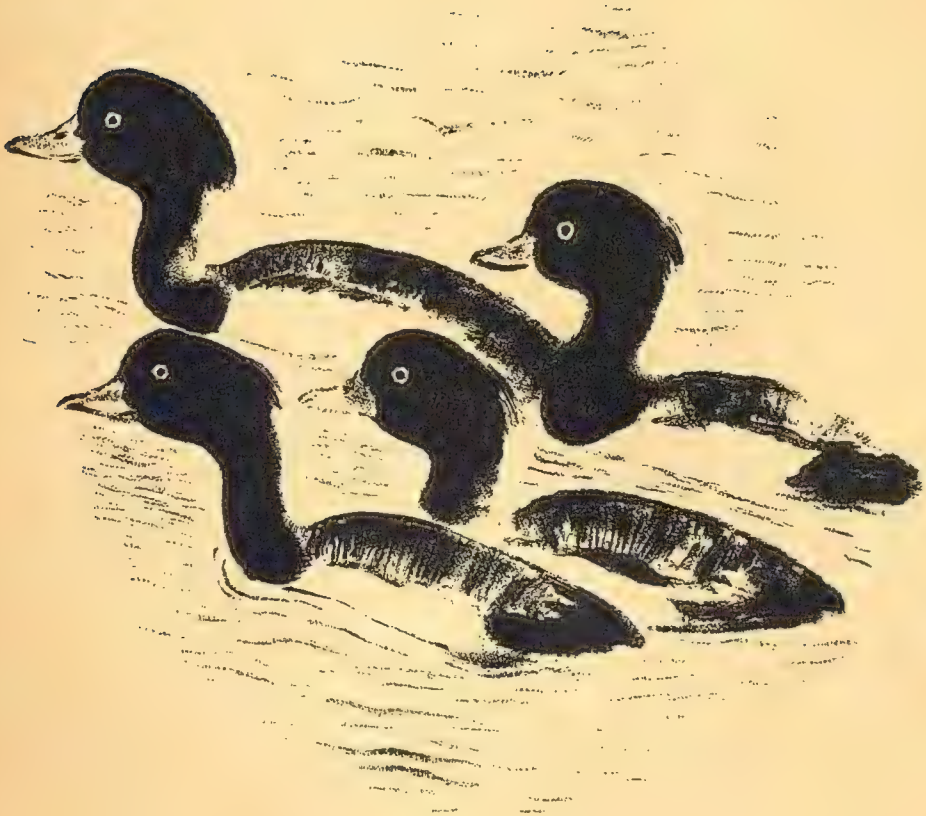
Только принялся он ружье заряжать, вынырнули из воды разом четыре черняди. Головки у всех черные, атласные, и шейка и грудь черные, а на серых боках белые зеркальца.

Чего ж они от выстрела-то не летят, не спасаются?

Подстрелки, видно. Их, значит, ранил здесь осенью кто-то, они и остались зимовать на полынье. С перебитыми крыльями далеко не улетишь. Ловят рыбешку ныром — тем и живут.

Тарарах! — ударил опять парень из ружья.

Градом прошумела дробь по черной воде. Только белые брызги поднялись, будто фонтанчики тоненькие заплясали.



А уток опять нет. Утки перед самым выстрелом унырнуть успели, будто ветром их сдуло.

Заряжает парень ружье, а черняди опять плавают как ни в чем не бывало. Шейки вытягивают — сторожатся.

Тарарах! — выстрелил парень — и снова то же самое: дробь по чистой воде, а уток нет.

Тарарах! — то же самое.

Бух! — то же самое.

Тарарах! Бух! Тарарах!

Парень вроде как с ума сошел, глаза выпучил, рот раскрыл. Даже шапку с головы потерял, — простоволосый стоит, и пар у него от волос валит.

Смотрю — он за пояс схватился, в патронташе шарит. Бормочет про себя что-то. Отыскал последний патрон, заложил в ружье. Трясутся у него руки на ружье.

Тарарах! Это в последний раз он ударил и бросил ружье в снег. А сам глядит — не убил ли кого случаем? Не выплывет ли хоть одна окаянная чернядь брюхом вверх, головой вниз? Нет, все четыре на воде плавают. Будто новые пароходики, только что выкрашенные.

Заревел тут парень во весь голос. Ружье ногами топчет, кулаками в воздухе машет. Воет, как волк какой. Ну и ярый же охотник, видать!

Подбежал я к нему.

— Стой! — кричу. — Чего с ума сходишь?

Уставился на меня парень — ничего не соображает.

— Дай, — говорю, — я за тебя счастья попытаю.

— Вали, — говорит, — пробуй.

А сам рукавом утирается.

Похлопал я свое ружьецо. Сдул снежок с планки, приложил к плечу.

— А ну, — говорю, — не выдай, Зауэр три кольца.

Зауэр — это фирма ружейная, а три кольца — знак на

стволах. Если есть на Зауэре три кольца, значит, сталь в стволах особого закала — крепкая.

Прицелился я в уток, а они, на мое счастье, как раз все вместе сплылись — одним выстрелом уложить их теперь можно.

Бух!

Закрыло от меня дымом полынью. Не вижу, убил или не убил.

А когда дым разошелся, гляжу — все четыре плавают.

Смеется парень.

— Вали, вали, стреляй, — говорит.

Ну, что ж, и выстрелю. Промашка у всякого бывает.

Еще раз приложился, а сам не стреляю, жду, чтоб погуще утки сплылись.

Бух! — утки на месте.

Бах! — плавают.

Бум! — ничего уткам не делается.

Вот дичь проклятая! Будто заколдовал ее кто.

Под самым носом торчит, а не возьмешь.

А уж дым не облаком, а густой тучей кругом висит, прямо дышать трудно — едучий он, пороховой дым.

И стоят в этой туче два дурака. Один дурак — парень, другой — я.

А утки знай себе плавают, то боком к нам повернутся, то задом, то передом, будто сами подставляются. Стреляй, мол.

Смотрим мы с парнем друг на друга. Оба уж смеемся.

— Что? — спрашивает парень. — Патроны все стратил?

— Да нет, — говорю, — кажется, еще где-то пара есть. В валенок, наверное, завалились — из кармана дырявого.

— Ну, разувайся, — говорит, — доставай.

Сел я на снег, разуваюсь.

Так и есть — два патрона в голенище застряли. Поглядел я на уток... Торчат они черными поплавками, покачиваются в полынье.

Да ну их к лешему! Патронов последних жалко. Лучше ворон поганых в лёт шибануть, чем на этих дьяволов тратиться.

А тут вдруг старичок к нам сзади подходит, старенький старичок — седая борода.

— Здравствуйте, — говорит, — молодые люди. Вижу я, — говорит, — дым над рекой. Испугался даже, уж не река ли, подумал, загорелась. А вы тут, оказывается, по уточкам чикаете. Очень интересно, — как я поглядел. Дайте-ка старому разок стрельнуть.

Я ничего не сказал. Сунул ему ружье.

«Стреляй, — думаю, — старый пень. Дай и над тобой посмеяться. Все веселей, когда одним дураком больше».

Прикладывается старичок к ружью. Пробует — прикладисто ли берется.

А потом повернулся к парню и говорит быстренько:

— Ну-ка, чикни курком, милый друг. Прицельсь-ка пустым ружьем да и чикни.

— А ну тебя! — говорит парень. — Чего смеешься-то?

— Нет, чикни, чикни, — просит старичок. А сам пристально на уток смотрит.

Ну, парень чикнул, — чего ему стоит!

Враз унырнули черняди, от настоящего как будто выстрела.

А старичок считает. Тихо, равномерно считает:

— Раз, два, три, четыре...

И как досчитал до четырех — вынырнули утки.

Просит старичок:

— Ну-ка еще раз чикни.

Опять чикнул парень, опять до четырех досчитал старичок, опять вынырнули утки.

Как сказал «четыре» — так все утки и появились.

— А ну-ка в последний раз чикни. Раз, два, три...

Тарарах!

Ударил выстрел, рассеялся дым. Глядим, все четыре черняди на воде лежат, белыми животами поблескивают.

Как раз старику под выстрел вынырнули, под самую дробь попали.

ЛЕСНОЙ КОТЕНОК

На полянке ручеек течет. И трава кругом густая, разноцветная, от цветов разноцветная. Тут и пчелы работают, и шмель гудит. А у сосенки, у трехлетки, что мне по колено ростом, толкунцы толкутся, комары. Всей кучей на одном месте подпрыгивают.

А полянка-то маленькая, будто комнатка — шагов пять в ширину, десять в длину.

Стеной вокруг смородина растет, в смородине рябина, под рябиной опять малина.

А дальше настоящий лес обступил поляну. Еловый лес.

Иду я с ружьем по лесу. Увидел эту гущину — малину, смородину, рябину —и полез в кусты.

Смотрю, а за кустами эта полянка. Ишь ты, как запряталась!

А нет ли тут дичи, думаю.

Высматриваю потихоньку сквозь смородину и вижу: как раз посередке дичь ходит.

Маленький, маленький котеночек ходит, большеголовый котеночек. Хвост короткий — не хвост, а хвостишко. Мордочка пучеглазая, глаза глупые. А ростом он с пол-кошки всего.

Играет себе котеночек. Схватил в рот длинную соломину, а сам упал на спину и задними ногами соломину кверху подпинывает. Задние-то ноги у него длинные, куда длиннее передних, а ступни у ног толстые, с подушечками.

Надоела котенку соломина. За мухой погнался, потом цве-

ток лапой ударил. Схватил цветок, пожевал и выплюнул, головой мотает, — горький, видно, цветок попал.

Отплевался, отфыркался, посидел немного так, спокойненько, и вдруг тучу толкунцов-комаров заметил. Подполз к ним, прыгнул и передние лапы врозь расставил, — видно, хотел всех комаров в охапку поймать.

Да ни одного не поймал.

А тут шмель попал на глаза. Подобрался котенок и к шмелю да как даст задней лапой по ромашке, на которой шмель сидел, и сшиб его наземь.

Ловко орудует задней ногой. Как передней. Домашней кошке так не суметь.

Сшиб он шмеля на землю, да как запищит, замяучит. Ужалил его шмель!

Хотел было я ему помочь, яд выдавить, шмелиное жало вытащить. Да вдруг сообразил: нет, нельзя.

И похолодел я весь со страху.

Не помню, как на ноги вскочил и бежать пустился. Что есть мочи от котенка удираю, только глаза заслоняю от веток.

Яма мне на пути — я через яму. Куст — я через куст. И такая во мне прыть от страха, что рад бы одним махом через весь лес перепрыгнуть.

Бегу. Скачу. Километра два, наверное, этак проскакал.

Выбежал наконец на луга и упал в траву, — так прямо и грохнулся. Уж и ноги меня не держат, и сердце во мне, как муха в бутылке, бьется.

Хорошо, думаю, что ноги от котенка унес.

Котенок-то не простой был — это рысенок был. Значит, и мать его недалеко где-то бродила. Пока он играл себе тихомирно на полянке, ловил мух да соломинки жевал, мать тоже своим делом занималась — охотилась.

А как подал он голос, запищал, завопил, — тут уж рысь, конечно, к нему на помощь, на выручку.

И разорвала бы она меня в клочки, если бы я ей по дороге попался.

А ружье у меня как на зло самой мелкой дробью было заряжено — на рябчика, на мелкую дичь. Где уж тут с рысихой сладить!

Рысиха-мать — с доброго волка.

ВЕРНЫЙ ТРОЙ

Сговорились мы с приятелем побегать на лыжах. Зашел я за ним утром. Он в большом доме живет — на улице Пестеля.

Вошел я во двор. А он увидал меня из окна и машет рукой с четвертого этажа.

— Жди, — мол, — сейчас выйду.

Вот я и жду на дворе, у двери. Вдруг сверху кто-то как загремит по лестнице.

Стук! Гром! Тра-та-та-та-та-та-та! Деревянное что-то стучит-трещит по ступенькам как трещетка какая.

«Неужели, — думаю, — это приятель мой с лыжами да с палками свалился, ступеньки пересчитывает?»

Я поближе к двери подошел. Что же там по лестнице катится? Жду.

И вот смотрю — выезжает из дверей пятнистая собака-бульдог. Бульдог на колесиках.

Туловище у него прибинтовано к игрушечному автомобильчику — грузовичек такой, «Амо».

А передними лапами бульдог по земле ступает — бежит и сам себя катит.

Морда курносая, морщинистая. Лапы толстые, широко расставленные. Выехал он из дверей, посмотрел сердито по

сторонам. А тут рыжая кошка двор переходила. Как бросится за кошкой бульдог — только колеса подпрыгивают на камнях да ледяшках. Загнал кошку в подвальное окно, а сам ездит по двору — углы обнюхивает.

Тут я вытащил карандаш и записную книжку, уселся на ступеньке, и давай его рисовать.

Вышел мой приятель с лыжами, увидел, что я собаку рисую, и говорит:

— Рисуй его, рисуй — это герой собачий. Он из-за храбрости своей калекой стал.

— Как так? — спрашиваю.

Погладил мой приятель бульдога по складкам на загривке, конфету ему в зубы дал, и говорит мне:

— Пойдем, я тебе по дороге всю его историю расскажу. Замечательная история, ты и не поверишь прямо.

— Так вот, — сказал приятель, когда мы вышли за ворота, — слушай.

Имя у нашей собаки немецкое — Трой. По-нашему это значит — верный.

И правильно его так назвали.

Ушли мы как-то раз все на службу. У нас в квартире все служат — один командиром в Красной армии, другой на почте телеграфистом, жены тоже служат, а дети учатся. Ну вот ушли мы все, а Трой один остался — квартиру сторожить.

Выследил какой-то ворище — молодой бандит, — что пустая у нас осталась квартира, вывернул замок из двери и давай у нас хозяйничать.

У него с собой мешок был громадный. Хватает он все, что попало, и сует в мешок, хватает и сует. Ружье мое в мешок попало, сапоги новые, командирские часы наградные, бинокль Цейса, валенки ребячьи. Штук шесть пиджаков да френчей да курток всяких он на себя натянул, — в мешке уж места, видно, не было.

А Трой лежит у печки, молчит, — вор его и не видит.

Такая уж у Троя привычка: впустить он кого угодно впустит, а вот выпустить — так нет.

Ну вот, обобрал вор всех нас дочиста. Самое дорогое, самое лучшее взял. Уходить ему пора. Сунулся он к двери...

А в дверях Трой стоит.

Стоит и молчит.

А морда у Троя — видал какая?

А грудища-то!

Стоит Трой, насупился, глаза кровью налились, и клык изо рта торчит.

Вор так и прирос к полу. Попробуй, уйди!

А Трой ощерился, избочился и боком стал наступать.

Тихонько подступает. Он всегда так врага запугивает — собаку ли, человека ли.

Ворюга, видно, от страха совсем обалдел, метаться начал без толку, а Трой на спину ему прыгнул и все шесть пиджаков на нем разом прокусил.

Ты знаешь, как бульдоги мертвой хваткой хватают?

Глаза закроют, челюсти захлопнут как на замок, да так и не разожмут зубов, хоть убей их тут.

Мечется вор, об стены спиной трется. Цветы в горшках, вазочки, книги с полок сбрасывает. Ничего не помогает. Висит на нем Трой как гиря какая.

Ну, догадался наконец вор, вывернулся он как-то из своих шести пиджаков и весь этот куль вместе с бульдогом раз за окно!

Это с четвертого-то этажа!

Полетел бульдог головой вниз во двор.

Хлоп!

Жижа в стороны брызнула, картошка гнилая, головы селедочные, дрянь всякая.

Угодил Трой со всеми нашими пиджаками прямо в помой-

ную яму. До краев была завалена в этот день наша помойка.

Ведь вот какое счастье! Если бы о камни он брякнулся — все бы косточки переломал и не пикнул бы. Сразу бы ему смерть.

А тут будто кто ему нарочно помойку подставил — все же помягче падать.

Вынырнул Трой из помойки, выкарабкался — будто целый совсем. И подумай только, успел он еще вора на лестнице перехватить.

Опять в него вцепился, в ногу на этот раз. Тут сам вор себя выдал, заорал, завыл.

Сбежались на вой жильцы со всех квартир, и с третьего, и с пятого, и с шестого этажа, со всей черной лестницы.

А вор только кричит не своим голосом:

— Собаку держите. О-о-ой! Сам в милицию пойду. Оторвите только чорта окаянного!

Легко сказать — оторвите.

Два человека тянули бульдога, от ноги отрывали, а он только хвостиком-обрубком помахивал и еще сильнее челюсти зажимал.

Принесли жильцы из первого этажа кочергу, просунули Трою между зубов. Только таким манером и разжали ему челюсти.

Вышел вор на улицу — бледный, всклокоченный. Трясется весь, за милиционера держится.

— Ну и собачка, — говорит. — Ну и собачка!

Ну увели его, куда надо.

Пришел я со службы. Вижу — в дверях замок выворочен. В квартире мешок с добром нашим валяется.

А в уголке, на своем месте, Трой лежит. Весь грязный, вонючий.

Позвал я Троя.

А он и подойти не может. Ползет, повизгивает.

У него задние ноги отнялись.

Ну, теперь вот мы всей квартирой по очереди его гулять выводим. Я ему колесики приспособил. Он сам скатывается на колесиках по лестнице, а назад взобраться уж не может. Надо приподнимать кому-нибудь автомобильчик сзади. Передними-то лапами Трой сам переступает по ступенькам.

Так сейчас и живет пес на колесиках.

С. МАРШАК

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДРАЗНИТЬ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ ОПАЗДЫВАЮТ В ШКОЛУ, ПОРТЯТ КЛАССНЫЕ ПАРТЫ И Т. Д.

АВТОЛИТОГРАФИЯ А. ПАХОМОВА

ПРО ХУДОЖНИКОВ ИЛИ ХУДОЖНИЦ

Что за художники
Или художницы
В школу приносят
Ножи или ножницы
И оставляют
На парте узор?
Этим художникам —
Стыд и позор!

Стыд и позор
Малолетним вредителям.
Надо письмо
Написать их родителям.
Может ли
Школьник
И пионер
Портить имущество
С.С.С.Р.?

Стыд и позор
Иванову Василию.
Он нацарапал
На парте фамилию —
Чтобы ребята
На будущий год
Знали,
Что в классе
Сидел
Идиот.

HAL

ЛОДЫРИ И КОТ

Собирались лодыри
На урок,
А помчались лодыри
На каток.

Толстый ранец с книжками —
На спине.
А коньки под мышками —
На ремне.

Видят, видят лодыри:
Из ворот
Хмурый и ободранный
Кот идёт.

Спрашивают лодыри
У него:
— Ты чего нахмурился,
Отчего?

Замяукал жалобно
Серый кот:
— Мне, коту усатому,
Скоро год.

И красив я, лодыри,
И умён,
А письму и грамоте
Не учён.

Школа не построена
Для котят.
Научить нас грамоте
Не хотят.

А теперь без грамоты
Пропадёшь,
Далеко без грамоты
Не уйдёшь.

Ни попить без грамоты,
Ни поесть,
На воротах номера
Не прочесть.

Отвечают лодыри:
— Милый кот,
Нам пойдет двенадцатый
Скоро год.

Учат нас и грамоте
И письму,
Да не могут выучить
Ничему.

Нам учиться, лодырям,
Что-то лень.
На коньках катаемся
Целый день.

Мы не пишем грифелем
На доске,—
А коньками пишем мы
На катке!

Отвечает лодырям
Серый кот:
— Мне, коту усатому,
Скоро год,

Много знал я лодырей
Вроде вас,
А с такими встретился
В первый раз!

Вы идите, лодыри,
На урок,
А потом пожалуйте
На каток!

СЧИТАЛКА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ

В нашем классе
Нет лентяев, —
Только Вася
Николаев.
Он приходит на урок,
Засыпает, как сурок.
Лодырь,
Лодырь,
Лежебока
Проворонил
Три урока,
На четвертый
Опоздал,
Пятый
Где-то пропадал,
На шестом
Мешал учиться,
На седьмом
Ходил лечиться,
На восьмом
Играл в футбол,
На девятый
Не пришел.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

С. Маршак. Праздник леса 9

Р. Васильева. Заставские ребята 13

Политики 13

Халат-Халат 29

Иван Шорин. Одногодки 46

Шурка Грачев 46

Лошадь 59

Николай Григорьев. Полтора разговора 90

М. Ильин. Перестройка пустыни 118

Чего нехватает пустыне? 118

Дорога в пустыню 121

Вода в пустыне 123

Ветер поможет 126

Солнце поможет 127

Горы помогут 129

Воскресим мертвые реки 132

В пустыне война 132

Кто дал волю пескам? 134

Кто остановит пески? 135

Борьба растений с песками 135

Засеем пески 138

Отгоним барханы от наших полей 138

Перестроим песчаные степи 139

Перестроим жизнь 141

Враги народов пустыни 143

Человек против человека, человек за человека 145

Кто построил пустыню и кто ее перестроит? 149
Константин Золотовский. Водолазы 150
«Африка» 150
Под миноносцем 156
Шорох 161
«Садко» 164
М. Бронштейн. Солнечное вещество 169
Ник. Тихонов. Горная специальность 194
В. Потулов. Огонь и вода 218
Крыса 218
Лягушечье пекло 222
Борис Шергин. Поморская быль 226
Михаил Зощенко. Какие у меня были профессии 236
Г. Мирошниченко. Тюгулёвка 246
Евгений Чарушин. Охотничьи рассказы 264
Медвежата 264
Утка-нырок 268
Лесной котенок 272
Верный Трой 274
С. Маршак. Стихи, написанные для того, чтобы дразнить школьников, которые опаздывают в школу, портят классные парты и т. д. 279
Про художников или художниц 279
Лодыри и кот 281
Считалка для лентяев 284

Сдано в производство 23/V 1934 г.
Подписано к печати 11/IX 1934 г.
Д-79. Огиз № 2679. Тираж 30000 экз.
Ленгорлит № 25054. Заказ № 1877.
Формат бум. 73×93 см. $20^{3}/_{4}$ печ. л.
13,3 авт. л. (54100 тип. знак. в 1 б. л.).
Бум. л. $5^{3}/_{32}$. 2-я типография
«Печатный Двор» треста «Полиграфкнига». Ленинград, Гатчинская, 26.

Цена 4 р.